

ФЕДР

Сократ, Федр

Сократ. Милый Федр, куда и откуда?

227

Федр. От Лисия, Сократ, сына Кефала¹, иду прогуляться за городской стеной: у него ведь я просидел очень долго, с самого утра. А по совету нашего с тобой друга Акумена² я гуляю по загородным дорогам — он уверяет, что это не так утомительно, как по городским улицам.

б

Сократ. Он верно говорит, друг мой. Так, значит, Лисий уже в городе?

Федр. Да, у Эпикрата, в доме Морихия³ близ храма Олимпийца.

Сократ. Чем же вы занимались? Лисий, конечно, угощал вас своими сочинениями?

Федр. Узнаешь, если у тебя есть досуг пройтись со мной и послушать.

Сократ. Как, разве, по-твоему, для меня не самое главное дело — «превыше недосуга», по выражению Пиндара⁴, — услышать, чем вы занимались с Лисием?

Федр. Так идем.

с

Сократ. Только бы ты рассказывал!

Федр. А ведь то, что ты сейчас услышишь, Сократ, будет как раз по твоей части: сочинение, которым мы там занимались, было — уж не знаю, каким это образом, — о любви. Лисий написал о попытке соблазнить одного из красавцев, — однако не со стороны того, кто был в него влюблен, в этом-то и вся тонкость: Лисий уверяет, что надо больше угождать тому, кто не влюблен, чем тому, кто влюблен.

Сократ. Что за благородный человек! Если бы он написал, что надо больше угождать бедняку, чем богачу, ножилому человеку, чем молодому, и так далее — все это касается меня и большинства из нас, — какие бы это были учтивые и полезные для народа сочинения! У меня такое горячее желание тебя послушать, что я

д

не отстану от тебя, даже если ты продолжишь свою прогулку до самой Мегары, а там, по предписанию Геродика⁵, дойдя до городской стены, повернешь обратно.

228 **Федр**. Как это ты говоришь, дорогой Сократ, — неужели ты думаешь, что я, такой неумелый, припомню достойным Лисия образом то, что он, самый искусный теперь писатель, сочинял исподволь и долгое время? Куда уж мне, хоть бы и желал я этого больше, чем иметь груды золота.

Сократ. Ох, Федр, я или Федра не знаю, или позабыл уже и себя самого! Но нет — ни то, ни другое. Я уверен, что он, слушая сочинение Лисия, не просто разок прослушал, но много раз заставлял его повторять, на что **б** тот охотно соглашался. А ему и этого было мало: в конце концов он взял свиток, стал просматривать все, что его особенно привлекало, а просидев за этим занятием с утра, утомился и пошел прогуляться, вытвердив это сочинение уже наизусть, — клянусь собакой, я, право, так думаю, — если только оно не слишком было длинно. А отправился он за город, чтобы поупражняться. Встретив человека, помешанного на том, чтобы слушать чтение сочинений, он при виде его обрадовался, что будет **с** кем предаться восторженному неистовству, и пригласил пройтись вместе. Когда же этот поклонник сочинений попросил его рассказать, он стал прикидываться, будто ему не хочется. А кончит он тем, что станет пересказывать даже насильно, хотя бы его добровольно никто и не слушал. Так уж ты, Федр, уприси его сейчас же приступить к тому, что он в любом случае все равно сделает.

Федр. Правда, самое лучшее для меня — рассказать, как умею. Ты, мне кажется, ни за что меня не отпустишь, пока я хоть как-то не расскажу.

Сократ. И очень верно кажется!

Федр. Тогда я так и сделаю. Но в сущности, Сократ, я вовсе не выучил это дословно, хотя главный смысл почти всего, что Лисий говорит о разнице положения влюбленного и невлюбленного, я могу передать по порядку с самого начала.

Сократ. Сперва, миленький, покажи, что это у тебя в левой руке под плащом? Догадываюсь, что при тебе это самое сочинение. Раз это так, тообрази вот что: **с** я тебя очень люблю, но, когда и Лисий здесь присутствует, я не очень-то склонен, чтобы ты на мне упражнялся. Ну-ка, показывай!

Федр. Перестань! Ты лишил меня, Сократ, надежды, которая у меня была: воспользоваться тобой для упражнения. Но где же, по-твоему, нам сесть и заняться чтением?

Сократ. Свернем сюда и пойдем вдоль Илиса, а там, где нам понравится, сядем в затишье. 229

Федр. Видно, кстати я сейчас босиком. А ты-то всегда так. Ногам легче будет, если мы пойдем прямо по мелководью, это особенно приятно в такую пору года и в эти часы.

Сократ. Я за тобой, а ты смотри, где бы нам присесть.

Федр. Видишь вон тот платан, такой высокий?

Сократ. И что же?

Федр. Там тень и ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь.

Сократ. Так я вслед за тобой.

Федр. Скажи мне, Сократ, не здесь ли где-то, с Илиса, Борей, по преданию, похитил Орифию⁶?

Сократ. Да, по преданию.

Федр. Не отсюда ли? Речка в этом месте такая славная, чистая, прозрачная, что здесь на берегу как раз и резвятся девушкам.

Сократ. Нет, то место ниже по реке на два-три стадия, где у нас переход к святилищу Агры⁷: там есть и жертвенник Борею.

Федр. Не обратил внимания. Но скажи, ради Зевса, Сократ, ты веришь в истинность этого сказания?

Сократ. Если бы я и не верил, подобно мудрецам, ничего в этом не было бы странного — я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея сбросило Орифию, когда она резвилась с Фармакеей⁸ на прибрежных скалах; о такой ее кончине и сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или он похитил ее с холма Арея⁹? Ведь есть и такое предание — а что она была похищена там, а не здесь.

Впрочем, я-то, Федр, считаю, что подобные толкования хотя и привлекательны, но это дело человека особых способностей; трудов у него будет много, а удачи — не слишком, и не по чему другому, а из-за того, что вслед за тем придется ему восстанавливать подлинный вид гиппокентавров, потом химер и нахлынет на него целая орава всяких горгон и пегасов и несметное скопище разных других нелепых чудовищ¹⁰. Если кто, не веря в них, со своей доморощенной мудростью¹¹ приступит

к правдоподобному объяснению каждого вида, ему понадобится много досуга. У меня же для этого досуга нет вовсе.

А причина здесь, друг мой, вот в чем: я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И по-моему, смешно, не зная пока этого, исследовать чужое. Поэтому, распроставшись со всем этим и доверяя здесь общепринятому, я, как я только что и сказал, исследую не это, а самого себя: чудовище ли я, замысловатее и яростней Тифона, или же я существо более кроткое и простое и хоть скромное, но по своей природе причастное какому-то божественному уделу? Но между прочим, друг мой, не это ли дерево, к которому ты нас ведешь?

Федр. Оно самое.

Софрат. Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся, тенистая верба великолепна: она в полном цвету, все кругом благоухает. И что за славный родник пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, можно попробовать ногой. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, здесь, видно, святилище каких-то нимф и Ахелоя¹². Да если хочешь, ветерок здесь прохладный и очень приятный; по-летнему звонко вторит он хору цикад. А самое удачное это то, что здесь на пологом склоне столько травы — можно прилечь, и голове будет очень удобно. Право, ты отличный проводник, милый Федр.

Федр. А ты, поразительный человек, до чего же ты странен! Ты говоришь, словно какой-то чужеземец, нуждающийся в проводнике, а не местный житель. Из нашего города ты не только не едешь в чужие страны, но, кажется мне, не выходишь даже за городскую стену¹³.

Софрат. Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе.

Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким-нибудь плодом перед голодным животным, ведут его за собой — так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть ли не по всей Аттике и вообще куда тебе угодно. Но раз уж мы сейчас пришли сюда, я, пожалуй, прилягу, а ты расположись, как тебе, по-твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению¹⁴.

Ф е д р . Так слушай:

Речь Лисия «О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществляются. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные расканваются потом в своем хорошем отношении, когда проходит их страсть, а у невлюбленных никогда не наступит время раскаяния: их ведь ничто не вынуждает относиться хорошо — они делают это добровольно, по мере своих сил, так же как принимают лишь самые лучшие решения и в своих домашних делах. 231

Далее, влюбленные смотрят, какой ущерб претерпели они в своих делах из-за любви, а в чем они преуспели; прибавив сюда исполненные ими труды, они считают, что давно уже достойным образом отблагодарили тех, кого они любят. А для невлюбленных нет повода под предлогом любви пренебрегать домашними делами, перечислять свои прошлые труды или винить кого-либо в своей размолвке с родственниками. Раз отпадает столько неприятностей, ничто не мешает им с большой готовностью делать все, чем они рассчитывают кому-либо угодить. ь

Далее, если влюбленных сто́ит будто бы высоко ценить за то, что они, по их словам, чрезвычайно дружелюбно расположены к тем, в кого влюблены, и готовы и словом и делом навлечь на себя неприязнь посторонних, лишь бы угодить тем, кого любят, — так тут легко распознать, правду ли они говорят. Ведь в кого они впоследствии влюбятся, тех они и станут предпочитать прежним, и ясно, что в угоду новым будут плохо относиться к прежним. Вообще какой смысл доверять в подобном деле человеку, постигнутому таким несчастьем, что отворотить его не взялся бы никто, будь он даже весьма опытен? Влюбленные сами соглашаются с тем, что они скорее больны, чем находятся в здравом рассудке, и знают, что плохо соображают, но не в силах с собой совладать. Как же могут они, когда к ним снова вернется рассудок, считать хорошим то, на что они решились в таком состоянии? К тому же, если бы ты стал выбирать лучшего из влюбленных, тебе пришлось бы выбирать из небольшого числа, а если бы ты стал выбирать наиболее для тебя подходящего среди прочих, выбор был бы велик. Так что гораздо больше надежды встретить среди многих того, кто достоин твоей дружбы. с d o

Если ты боишься установившегося обычая — как бы люди, проведая, не стали тебя порицать, так тут естественно, что влюбленные, считая, что их собственные восторги разделяются и остальными людьми, будут превозносить себя в рассказах и с гордостью давать понять всем, что их старания были не напрасны; а невлюбленные, владея собой, вместо людской молвы изберут нечто лучшее.

Далее, многие неизбежно слышат и видят, как влюбленные сопровождают тех, в кого влюблены, делая это своим постоянным занятием; поэтому чуть только кто застанет их в беседе друг с другом, у него сейчас же возникает предположение, что это их общение вызвано влечением, уже возникшим или намечающимся. А невлюбленным никто и не пытается ставить в вину их общение, в уверенности, что им необходимо бывает побеседовать по-дружески или ради какого-то удовольствия.

Если же тебя охватывает страх при мысли, что дружбе трудно быть постоянной, так ведь когда разлад возникает при обычных обстоятельствах, это несчастье касается обеих сторон; если же только ты теряешь то, чем всего более дорожишь, — большой для тебя получится урон; значит, естественно было бы тебе опасаться именно влюбленных. Многие их огорчают, они считают, будто все совершается им во вред. Поэтому они отвергают тех, кого любят, от общения с остальными людьми, боясь, что богатые превзойдут их средствами, а образованные — обхождением; они остерегаются влияния всякого обладающего каким-либо преимуществом. Убедив тебя относиться неприязненно к таким людям, они лишают тебя друзей. Если же ты, не забывая о себе, будешь разумнее их, это поведет к размолвке. А кому не довелось влюбиться, но кто благодаря своим достоинствам добился того, в чем нуждался, тот не будет иметь ничего против людей общительных, наоборот, ему ненавистны нелюдимы: он ожидает с их стороны презрение, а от общительных людей — пользу. Поэтому гораздо больше надежды, что из их отношений возникнет дружба, а не вражда.

Далее, многих влюбленных привлекает тело еще до того, как они узнали характер и проверили остальные свойства, поэтому им неясно, захотят ли они оставаться друзьями и тогда, когда прекратится их влечение. А что касается невлюбленных, которые испытали это и ранее,

будучи между собой друзьями, то невероятно, чтобы их дружба уменьшилась от того, что им было приятно испытать, — напротив, это останется памятным знаком и залогом будущего.

Следует ожидать, что ты и сам станешь лучше, если послушаешься меня, а не какого-нибудь влюбленного. Те ведь, не считаясь с высшим благом, одобряют все, что бы ни говорилось и ни делалось, отчасти потому, что боятся вызвать неприязнь, отчасти же потому, что им самим страсть мешает разобраться.

Вот ведь что являет любовь: кто в ней несчастлив, тех она заставляет считать мучением даже то, что вовсе не причиняет огорчений другим, а кто счастлив, тех она вынуждает хвалить то, что не заслуживает даже считаться удовольствием. Поэтому следует скорее жалеть тех, в кого влюбляются, чем завидовать им.

Если ты меня слушаешься, я, общаясь с тобой, прежде всего стану служить не мгновенному удовольствию, но и будущей пользе. Я не дам себя одолеть влюбленности, но буду владеть собой; по пустякам не стану относиться к тебе с резкой враждебностью и даже в случае чего-нибудь важного лишь немножко посержусь; я извиню печальные провинности и попытаюсь предотвратить умышленные; все это признаки долговечной дружбы.

Если тебе представляется, что не может возникнуть крепкой дружбы, когда нет влюбленности, то тебе надо обратить внимание, что мы не ценили бы тогда ни наших сыновей, ни отцов и матерей и не приобрели бы верных друзей, которые и стали-то нам друзьями не из-за такого рода влечения, но в силу других привычек.

Далее, раз надо особенно угождать тем, кому это требуется, тогда и в других случаях следует оказывать помощь не тем, кто благополучен, а тем, кто бедствует, потому что, избавившись от величайших зол, такие люди будут особенно благодарны. Раз так, то и при личных расходах стоит приглашать не друзей, а просителей и нуждающихся в пище: они с великой радостью будут это ценить, будут ходить за тобой, стоять у твоих дверей, усердно тебя благодарить и желать тебе всяких благ.

Но пожалуй, следует угождать не всякому, кому это требуется, а тем, кто всего более может отблагодарить, и не просителям только, но лишь тем, кто этого достоин. Это не те, кому лишь бы насладиться расцветом твоей

молодости, а те, кто уделит тебе от своих благ, когда ты постареешь; не те, кто, добившись своего, станут хвастаться перед людьми, а те, кто стыдливо будет хранить перед всеми молчание; не те, кто лишь ненадолго займутся тобой, а те, что останутся на всю жизнь неизменно твоими друзьями; не те, кто, чуть только прекратится их влечение, будут искать предлог для враждебности, а те, кто обнаружит свою добродетель как раз тогда, когда минет твой расцвет.

Итак, помни о сказанном, подумай еще и о том, что влюбленных увещевают друзья, считая, что в их затеях есть что-то плохое, а невлюбленных никто из их близких никогда не корил, что они замышляют что-то себе во вред.

Возможно, ты спросишь меня, советую ли я тебе уступать всем невлюбленным. Думаю, что и влюбленный не посоветует тебе так относиться ко всем влюбленным. Ведь если он держится такого взгляда, он не заслуживает даже этой равной для всех благосклонности, да и тебе, при всем желании, невозможно в одинаковой мере утаиться от остальных. Между тем, от этого не должно быть никакого вреда, а лишь польза для обоих.

Так вот, я полагаю, что сказанного достаточно, если же ты желаешь дополнений и находишь пропуски, тогда задавай вопросы».

Как тебе кажется, Сократ, это сочинение? Не правда ли, все превосходно сказано, особенно в смысле выражений?

Сократ. Чудесно, друг мой, я прямо поражен. И ты тому причиной, Федр: глядя на тебя, я видел, как ты, читая, прямо-таки наслаждался этим сочинением. Считая, что ты больше, чем я, знаешь толк в таких вещах, я следовал за тобой, а следуя за тобой, я приходил в неистовый восторг вместе с тобой, удивительный мой человек.

Федр. Ну, ты уж, кажется, шутишь.

Сократ. Тебе кажется, что я шучу? Разве я не говорю серьезно?

Федр. Конечно, нет, Сократ. Но, по правде, скажи, ради Зевса, покровителя дружбы, неужели ты думаешь, что кто-нибудь другой из эллинов мог бы сказать об этом предмете иначе, больше и полнее?

Сократ. Что же? Значит, нам с тобой надо одобрить это сочинение также и за то, что его творец высказал в нем должное, а не только за то, что каждое выраже-

ние там тщательно отточено, ясно и четко? Раз надо, приходится уступить в угоду тебе, хотя я, по моему ничтожеству, всего этого не заметил. Я сосредоточил свое внимание только на его красноречии, а остальное, я думаю, и сам Лисий признал бы недостаточным. Помоему, Федр, — если только ты не возражаешь — он повторяет одно и то же по два, по три раза, словно он не слишком располагал средствами, чтобы об одном и том же сказать многое, — или, возможно, это было для него неважно. Мне показалось мальчишеством, как он выставляет напоказ свое умение выражать одно и то же так, то иначе — и в обоих случаях превосходно.

Федр. Ты говоришь пустяки, Сократ. Как раз это-то и есть в его сочинении, и притом всего более: он ничего не упустил из того, что в предмете его речи достойно упоминания. Сравнительно с тем, что он высказал, никто никогда не смог бы сказать ничего полнее и достойнее.

Сократ. В этом я уже не смогу согласиться с тобой: ведь древние мудрые мужи и жены, высказывавшиеся и писавшие об этом, избобличат меня, если в угоду тебе я уступлю.

Федр. Кто ж это такие? И где ты слышал что-нибудь лучшее?

Сократ. Сейчас я не могу так сразу ответить. Но ясно, что я от кого-то слышал, не то от прекрасной Сапфо, не то от мудрого Анакреонта¹⁵, не то от других писателей. А почему я так говорю? Грудь моя, чудесный друг, полна, я чувствую, что могу сказать не хуже Лисия, но по-другому. А так как сам от себя я ничего такого не мог придумать — я в этом уверен, сознавая свое невежество, — то остается, по-моему, заключить, что я из каких-то чужих источников, по слуху, наполнился наподобие сосуда, но по своей тупости позабыл, как и от кого я что слышал.

Федр. Это, благороднейший друг мой, ты прекрасно сказал. От кого и как ты слышал — не говори мне, хоть бы я и просил. Исполни только то, о чем ты говоришь: обещай сказать иначе, лучше и не меньше того, что в этом свитке, и не делая оттуда заимствований, а я тебе обещаю, по примеру девяти архонтов, посвятить в Дельфы золотое во весь рост изображение — не только мое, но и твое¹⁶.

Сократ. До чего же ты мил, Федр, и воистину ты золотой, если думаешь, будто я утверждаю, что Лисий во всем ошибся и что можно все сказать по-другому. Та-

кое не случается, думаю я, даже с самым скверным писателем. Например, хотя бы то, чего касается это сочинение. Кто же, говоря, что надо больше уступать невлюбленному, чем влюбленному, упустит, по-твоему, похвалу разумности одного и порицание безрассудству другого? Это ведь неизбежно, и разве тут скажешь иное? Думаю, что такие вещи надо допустить и простить говорящему. В подобных случаях нужно хвалить не изобретение, а изложение; где же [доводы] не так неизбежны и трудно их подыскать, там кроме изложения следует хвалить и изобретение.

Федр. Соглашаюсь с тем, что ты говоришь, потому что, мне кажется, это было тобой сказано правильно. Так я и сделаю: позволю тебе исходить из того, что влюбленного скорее можно признать больным, чем невлюбленного; если же в остальном ты скажешь иначе, чем у Лисия, полнее и более ценно, тогда стоять твоему кованому изваянию в Олимпии рядом со священным приношением Кипселидов¹⁷!

Сократ. Ты, Федр, принял всерьез, что я напал на твоего любимца, подтрунивая над тобой, и думаешь, будто я в самом деле попытаюсь равняться с его мудростью и скажу что-нибудь иное, более разнообразное?

Федр. Здесь, дорогой мой, ты попался в ту же ловушку! Говори как умеешь, больше тебе ничего не остается, иначе нам придется, как в комедиях, заняться тяжким делом препирательства. Поберегись и не заставляй меня повторить твой же прием: «если я, Сократ, не знаю Сократа, то я забыл и самого себя» или «он хотел говорить, но ломался». Сообрази, что мы отсюда не уйдем, прежде чем ты не выскажешь того, что у тебя, как ты выразился, в груди. Мы здесь одни, кругом безлюдье, я сильнее и помоложе — по всему этому внемли моим словам и не доводи дела до насилия, говори лучше по доброй воле!

Сократ. Но, милый Федр, не смешно ли, если я, простой человек, стану вдруг наобум состязаться с настоящим творцом!

Федр. Знаешь что? Перестань рисоваться передо мной. У меня, пожалуй, припасено кое-что: стоит мне это сказать, и ты будешь принужден заговорить.

Сократ. Так ни в коем случае не говори!

Федр. Нет, я непременно скажу, и мое слово будет клятвой. Клянусь тебе — но кем, однако? Кем из богов? Ну, хочешь, вот этим платаном? Право же, если ты мне

не произнесешь речи перед вот этим самым деревом, я никогда не покажу и не сообщу тебе никакой и ничьей речи!

Сократ. Ох, негодный! Нашел ведь как заставить любителя речей выполнить твоё требование!

Федр. Да что с тобой? Почему ты все увертываешься?

Сократ. Уже нет, после такой твоей клятвы. Разве я способен отказаться от такого угощения!

Федр. Так начинай.

Сократ. Знаешь, что я сделаю?

Федр. Что?

Сократ. Я буду говорить, закрыв лицо, чтобы при взгляде на тебя не сбиваться от стыда и как можно скорее проговорить свою речь.

Федр. Лишь бы ты говорил, а там делай что хочешь.

Сократ. Так вот, сладкоголосые Музы — зовут ли вас так по роду вашего пения или в честь музыкального племени лигуров¹⁸, — «помогите мне» поведать то, к чему принуждает меня этот превосходный юноша, чтобы его друг, и ранее казавшийся ему мудрым, казался бы ему теперь таким еще более!

Жил себе мальчик, вернее, подросток, красоты необычайной, и в него были влюблены очень многие. Один из них был лукав: влюбленный не меньше, чем кто другой, он уверил его в том, будто вовсе и не влюблен. И как-то раз, домогаясь своего, он стал убеждать его в этом самом, — будто невлюбленному надо скорее уступить, чем влюбленному. А говорил он вот как:

«Во всяком деле, юноша, надо для правильного его обсуждения начинать с одного и того же: требуется знать, что же именно подвергается обсуждению, иначе неизбежны сплошные ошибки. Большинство людей и не замечает, что не знает сущности того или иного предмета: словно она им уже известна, они не уславливаются о ней в начале рассмотрения; в дальнейшем же его ходе это, естественно, сказывается: они противоречат и сами себе и друг другу. Пусть же с нами не случится то, в чем мы упрекаем других. Раз перед тобой и передо мной стоит вопрос, с кем лучше дружить, с влюбленным или с невлюбленным, нам надо условиться об определении того, что такое любовь и в чем ее сила, а затем, имея это в виду и ссылаясь на это, мы займемся рассмотрением, приносит ли она пользу или вред.

Что любовь есть некое влечение, ясно всякому. А что и невлюбленные тоже имеют влечение к красавцам, это мы знаем. Чем же, по-нашему, отличается влюбленный от невлюбленного? Следует обратить внимание, что в каждом из нас есть два каких-то начала, управляющие нами и нас ведущие; мы следуем за ними, куда бы они ни повели; одно из них врожденное, это — влечение к удовольствиям, другое — приобретенное нами мнение относительно нравственного блага и стремления к нему. Эти начала в нас иногда согласуются, но бывает, что они находятся в разладе и верх берет то одно, то другое. Когда мнение о благе разумно сказывается в поведении и своею силою берет верх, это называют рассудительностью. Влечение же, неразумно направленное на удовольствия и возобладавшее в нас своею властью, называется необузданностью. Впрочем, для необузданности есть много названий, ведь она бывает разной и сложной: тот ее вид, которому доведется стать отличительным, и дает свое название ее обладателю, хотя бы оно было и некрасиво и не стоило бы его носить. Так, пристрастие к еде, взявшее верх над пониманием высшего блага и остальными влечениями, будет чревоугодием, и кто им отличается, получает как раз это прозвание. А если кем самовластно правит пристрастие к опьянению, и только оно его и ведет, — понятно, какое прозвище он получит. И в остальных случаях то же самое: название берется от соответствующего влечения, постоянно преобладающего, — это очевидно».

Ради чего все это было сказано, пожалуй, ясно; во всяком случае, сказанное яснее несказанного. Ведь влечение, которое вопреки разуму возобладало над мнением, побуждающим нас к правильному [поведению], и которое свелось к наслаждению красотой, а кроме того, сильно окрепло под влиянием родственных ему влечений к телесной красоте и подчинило себе все поведение человека, — это влечение получило прозвание от своего могущества, вот почему и зовется оно любовью.

Но, милый Федр, не кажется ли тебе, как и мне, что я испытываю какое-то божественное состояние?

Федр. И даже очень, Сократ: вопреки обыкновению, тебя подхватил какой-то поток.

Сократ. Так слушай меня в молчании. В самом деле, место это какое-то божественное, так что не удивляйся, если во время своей речи я, возможно, не раз буду

охвачен нимфами — даже и сейчас моя речь звучит как дифирамб¹⁹.

Федр. Ты совершенно прав.

Софрат. Причиной этому, однако, ты. Но слушай остальное — а то как бы это наитие не покинуло меня; впрочем, это зависит от бога, а нам надо в нашей речи снова вернуться к тому мальчику.

Так-то, милый мой! То, что подлежит нашему обсуждению, уже указано и определено. Не упуская этого из виду, поговорим об остальном: какую пользу или какой вред получит, по всей вероятности, от влюбленного и от невлюбленного тот, кто им уступает? Человек, подчиняющийся влечению, раб наслаждения, непременно делает своего любимца таким, каким он ему будет всего приятнее. Кто болен, тому приятно все, что ему не противится, а что сильнее его или ему равно, то ненавистно. Любящий добровольно не переносит, чтобы его любимец превосходил его или был ему равен, но всегда старается сделать его слабее и беспомощнее. Невежда слабее мудрого, трус — храбреца, неспособный говорить — речистого, тупица — остроумного. Такие или еще большие недостатки в духовном складе любимца, неизбежно ли возникающие или присущие ему от природы, услаждают влюбленного, он даже старается их развить, только бы не лишиться мгновенного наслаждения.

Влюбленный неизбежно ревнив, и, отстраняя своего любимца от многих других видов общения, притом полезных, благодаря которым тот всего более бы мог возмужать, он причиняет ему великий вред, но еще несравненно больший, если не дает приобщиться к тому, от чего любимец всего более мог бы стать разумным; а ведь именно такова божественная философия, к которой влюбленный и близко его не подпускает, боясь, как бы тот не стал им пренебрегать. Придумывает он и многое другое, чтобы его любимец ничего не знал и ни на что не глядел, кроме как на него, и этим был бы ему в высшей степени приятен, хотя бы для самого юноши это было и крайне вредно. Значит, попечения и общество человека, охваченного любовью, никак не могут быть полезными для духовного склада юноши.

Вслед за тем надо посмотреть, каково будет состояние тела и уход за ним у того, чьим новелителем станет человек, непременно стремящийся к удовольствию, а не к благу, и мы увидим, что он ищет не юношу крепкого сложения, а неженку, выросшего не на ясном солнце, а

в густой тени, не знакомого с мужскими трудами и сухим потом, но знакомого с изысканным, немужественным образом жизни, прибегающего к искусственным прикрасам и уборам за недостатком собственной красоты и занимающегося всем остальным, что с этим сопряжено. Это ясно, и не стоит дольше об этом распространяться. Отметив здесь это главное, перейдем к остальному: ведь на войне и в других важных случаях подобное тело внушает неприятелю отвагу, а друзьям и самим влюбленным — опасения.

Поскольку это ясно, оставим это в стороне и поговорим лучше о следующем: какую, по-нашему, пользу или какой вред принесет общение с влюбленным и его попечение достоянию [любимца]? Здесь ясно всякому, а особенно самому влюбленному, что всего более он желал бы, чтобы его любимец был лишен самого дорогого, верного и божественного достояния: он предпочел бы, чтобы тот лишился отца, матери, родственников и друзей, потому что он считает их всех докучливыми хулителями этой столь сладостной для него близости. Кто обладает состоянием — золотом или другим имуществом, — того он будет считать неподатливым, и, если тот даже поддастся, он будет думать, что такого нелегко будет удержать. Поэтому влюбленный неизбежно досаждает, если его любимец обладает состоянием, и радуется, если тот его терпит. Желая как можно дольше пользоваться тем, что ему сладостно, влюбленный хотел бы, чтобы его любимец как можно дольше оставался безбрачным, бездетным, бездомным.

Есть тут и много других дурных сторон, но некий генерал примешал к большинству из них мимолетное удовольствие. Лысiec, например, это страшное чудовище и великая пагуба, однако природа примешала к лести какое-то удовольствие, очень тонкое. Можно порицать и гетеру, ибо и она вредна, и многое другое в подобного рода существах и занятиях, однако в повседневной жизни они бывают очень приятны. Влюбленный же для своего любимца, кроме того что вреден, еще и всего нестерпимее при каждодневном общении. По старинной поговорке, сверстник радуется сверстнику²⁰. Думаю, что равенство возраста ведет к равным удовольствиям и вследствие сходства порождает дружбу. Впрочем, даже общение со сверстниками вызывает иногда пресыщение; между тем навязчивость признается тягостной для всякого и во всем. Что же до несходства, так оно чрезвычай-

но велико между влюбленным и его любимцем. Когда они вместе, старшему не хочется покидать младшего ни днем, ни ночью: его подстрекает неотступный яростный овод, суля все время наслаждения его зрению, слуху, осязанию; каждым ощущением ощущает он своего любимого, так что с удовольствием готов ему усердно служить. А в утешение какое удовольствие доставит возлюбленному влюбленный, заставляя того провести с ним ровно столько же времени? Разве тот не дойдет до крайней степени отвращения, видя уже немолодое лицо, отцветшее, как и все остальное, о чем неприятно даже слышать упоминание, не только что быть постоянно вынужденным соприкасаться на деле. И все время над ним неуслынный надзор, его всячески ото всех стерегут, он слышит неуместную, преувеличенную похвалу, но точно так же и упреки, невыносимые и от трезвого, а от пьяного, кроме того что невыносимые, еще и постыдные из-за своей излишней и неприкрытой откровенности.

Пока кто влюблен, он вреден и надоедлив, когда же пройдет его влюбленность, он становится вероломным. Много наобещав, надавав множество клятв и истратив столько же просьб, он едва-едва мог заставить своего любимца в чаянии будущих благ терпеть его общество — настолько оно было тому тягостно. Теперь он должен расплачиваться: вместо влюбленности и неистовства его властелинами сделались ум и рассудительность, между тем его любимец, не заметив происшедшей перемены, требует от него прежней благосклонности, напоминает все, что было сделано и сказано, и разговаривает с ним так, словно это все тот же человек. От стыда тот не решается сказать, что стал другим и что не знает, как выполнить клятвы и обещания, данные им, когда он был под властью прежнего безрассудства. Теперь к нему вернулись ум и рассудительность, так что он не способен стать снова похожим на то, чем он был прежде, то есть стать тем же самым, хотя бы он все еще совершал то же самое. Вот почему прежний влюбленный вынужден отречься и бежать: игральный черенок вышал другой стороной, и влюбленный, сделав крутой поворот, обращается в бегство. А прежний любимец вынужден, негодуя и проклиная, преследовать его, не поняв с самого начала, что никогда не надо уступать влюбленному, который наверняка безрассуден, но лучше уступать тому, кто не влюблен, да зато в здравом уме. Иначе придется ему поддаться человеку неверному, сварливому, завистливому,

противному, вредному для имущества, вредному и для состояния тела, а еще гораздо более вредному для воспитания души, ценнее которого поистине нет ничего ни у людей, ни у богов. Все это надо учесть, мой мальчик, и понимать, что дружба влюбленного возникает не из доброжелательства, но словно ради насыщения пищей: а как волки ягнят, любят влюбленные мальчиков²¹.

Так-то, Федр, позволь больше не занимать тебя моими рассуждениями — на этом я закончу свою речь.

Федр. А я думал, что это только ее половина и что ты столько же скажешь и о невлюбленном — о том, что надо скорее уступить ему, и укажешь на его хорошие стороны. Ты же, Сократ, почему-то остановился.

Сократ. Не заметил ли ты, дорогой мой, что у меня уже зазвучали эпические стихи, а не дифирамбы, хоть я только то и делал, что порицал? Если же я начну хвалить того, другого, что же я, по-твоему, буду делать? Знаешь ли ты, что я буду наверняка вдохновлен нимфами, которым ты не без умысла меня подбросил? Лучше уж я выражу все одним словом: тот, другой, хорош всем тем, что прямо противоположно свойствам, за которые мы порицали первого. Стоит ли об этом долго говорить? Достаточно сказано о них обоих: пусть с моим сказом 242 будет то, чего он заслуживает, а я удаляюсь — перейду на тот берег речки, пока ты не принудил меня к чему-нибудь большему.

Федр. Только не прежде, Сократ, как спадет жара. Разве ты не видишь, что уже наступает полдень, который называют недвижным²²? Переждем, побеседуем еще о том, что было сказано, а как станет, быть может, прохладнее, мы и пойдем.

Сократ. По части речей ты, Федр, божественный и прямо-таки чудесный человек! Я думаю, что из всех речей, появившихся за время твоей жизни, никто не сочинил их больше, чем ты, — либо ты сам произносил их, либо принуждал к этому каким-нибудь образом других; за исключением фиванца Симмия²³, всех остальных ты намного превзошел. Вот и сейчас, кажется, по твоей вине я скажу речь!

Федр. Это еще не объявление войны. Но что за речь и почему?

Сократ. Лишь только собрался я, мой друг, переходить речку, мой гений подал мне обычное знаменье, — а оно всегда удерживает меня от того, что я собираюсь сделать: мне будто послышался тотчас же какой-то го-

дос, не разрешавший мне уйти, прежде чем я не искуплю некий свой проступок перед божеством. Я хоть и прорицатель, но довольно неважный, вроде как плохие грамотеи — лишь поскольку это достаточно для меня самого. Так вот, я уже ясно понимаю свой проступок — ведь и душа, друг мой, есть нечто вещее: еще когда я говорил ту свою речь, меня что-то тревожило и я как-то смущался: а вдруг я, по выражению Ивика, нерадение о богах

...сменяю на почесть людскую²⁴

d

Теперь же я чувствую, в чем мой проступок.

Федр. О чем ты говоришь?

Сократ. Ужасную, Федр, ужасную речь ты и сам принес, и меня вынудил сказать.

Федр. Как так?

Сократ. Неленую и в чем-то даже нечестивую — а какая речь может быть еще ужаснее?

Федр. Никакая, если только ты прав.

Сократ. Да как же? Разве ты не считаешь Эрота сыном Афродиты и неким богом?

Федр. Действительно, так утверждают.

Сократ. Но не Лисий и не ты в той речи, которую ты произнес моими устами, околдованными тобою. Если же Эрот бог или как-то божествен — а это, конечно, так, — то он вовсе не зло, между тем в обеих речах о нем, которые только что у нас были, он представлен таким. Этим они обе погрешили перед Эротом, вдобавок при их недомыслии в них столько лоску, что хотя в них не утверждалось ничего здравого и истинного, однако они кичливо притязали на значительность, лишь бы провести каких-то людишек и прославиться среди них. Да, мой друг, мне необходимо очиститься. Для погрешающих против священных сказаний есть одно древнее очищение. Гомер его не знал, а Стесихор знал: лишившись зрения за поношение Елены, он не был так недогадлив, как Гомер, но понял причину и, будучи причастен Музам, тотчас же сочинил:

243

Не верно было слово это,
На корабли ты не всходила,
В Пергам троянский не плыла, —

b

а сочинив всю так называемую «Покаянную песнь», он сразу же прозрел²⁵. Так вот в этом деле я буду умнее их: прежде чем со мной приключится что-нибудь за поно-

шение Эрота, я попытаюсь пропеть ему покаянную песнь уже с непокрытой головой, а не закрываясь от стыда, как раньше.

Федр. Для меня, Сократ, нет ничего приятнее этих твоих слов.

Сократ. Ты, конечно, понимаешь, добрый мой Федр, насколько бесстыдно были сказаны обе те речи — и моя и та, что ты прочел по свитку. Если бы какому-нибудь благородному человеку, кроткого нрава, влюбленному или в прошлом любившему такого же человека, довелось услышать, как мы утверждали, что влюбленные из-за пустяков проникаются сильной враждой и тогда недоброжелательно относятся к своим любимцам и им вредят, — разве он, по-твоему, не подумал бы, что слышит речи людей, воспитывавшихся где-то среди моряков и не выдавших никогда любви свободнорожденного человека, и разве он согласился бы с нашей хулою Эрота?

Федр. Пожалуй, нет, клянусь Зевсом, Сократ!

Сократ. И вот, устыдившись такого человека и убоявшись самого Эрота, я страстно желаю смыть с себя чистою речью всю эту морскую соленую горечь, заполнившую наш слух. Советую и Лисию как можно скорее написать, что, исходя из тех же побуждений, надо больше угождать влюбленному, чем невлюбленному.

Федр. Поверь, это так и будет. Если ты скажешь похвальное слово влюбленному, я непременно заставлю и Лисию в свою очередь написать сочинение о том же самом.

Сократ. Верю, пока ты останешься таким, как теперь.

Федр. Так начинай смелее!

Сократ. А где же у меня тот мальчик, к которому я обращался с речью? Пусть он и это выслушает, а то, не выслушав, он еще поспешит уступить тому, кто его не любит.

Федр. Он возле тебя, совсем близко, всегда, когда ты захочешь.

**Вторая речь
Сократа**

Сократ. Так вот, прекрасный юноша, заметь себе: первая речь была речью Федра, сына Питокла, миринусийца, а то, что я собираюсь сказать, будет речью Стесихора, сына Евфема, гимерейца. Он гласит так:

будто при наличии влюбленного следует уступать скорее невлюбленному только из-за того, что влюбленный впадает в неистовство, а невлюбленный всегда рассудителен. Если бы неистовство было попросту злом, то это было бы сказано правильно. Между тем величайшие для нас блага возникают от неистовства, правда, когда оно уделяется нам как божий дар²⁶. Прорицательница в Дельфах и жрицы в Додоне²⁷ в состоянии неистовства сделали много хорошего для Эллады — и отдельным лицам и всему народу, а будучи в здравом рассудке, — мало или вовсе ничего. И если мы стали бы говорить о Сивилле²⁸ и других, кто с помощью божественного дара прорицания множеством предсказаний многих направил на верный путь, мы бы потратили много слов на то, что всякому ясно и так. Но вот на что стоит сослаться: те из древних, кто устанавливал значения слов, не считали неистовство (*μανία*) безобразием или позором — иначе они не прозвали бы «маническим» (*μανική*) то прекраснейшее искусство, посредством которого можно судить о будущем. Считая его прекрасным, когда оно проявляется по божественному определению, они его так и прозвали, а наши современники, по невежеству вставив букву «тау», называют его «мантическим» (*μαντική*)²⁹. А гадание о будущем, когда люди, находящиеся в полном рассудке, производят его по птицам и другим знамениям, в которых, словно нарочно, заключаются для человеческого ума (*οὔησις*) и смысл (*νοῦς*), и знания (*ἰστορία*), древние называли «ойоноистикой» (*οἰονοιστική*), а люди нового времени кратко называют «ойонистикой» (*οἰωνιστική*), с омегой ради пышности. Так вот, насколько прорицание совершеннее и ценнее птицагадания — тут и название лучше и само дело, — настолько же, по свидетельству древних, неистовство, которое у людей от бога, прекраснее рассудительности, свойства человеческого.

Избавление от болезней, от крайних бедствий, от тяготевшего издревле гнева богов бывало найдено благодаря неистовству, появившемуся откуда-то в некоторых семействах и дававшему прорицания, кому это требовалось. Неистовство разрешалось в молитвах богам и служении им, и человек, охваченный им, удостоивался очищения и посвящения в таинства, становясь неприкосновенным на все времена для окружающих зол, освобождение от которых доставалось подлинно неистовым и одержимым.

Третий вид одержимости и неистовства — от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых.

в Вот сколько — и еще больше — могу я привести примеров прекрасного действия неистовства, даруемого богами. Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного друга тому, кто охвачен порывом. Пусть себе торжествуют победу те, кто докажет к тому же, что не на пользу влюбленному и возлюбленному ниспосылается богами любовь, — нам надлежит доказать, наоборот, что подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего надо вникнуть в подлинную природу божественной и человеческой души, рассмотрев ее состояния и действия. Начало же доказательства следующее.

д Всякая душа бессмертна³⁰. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется. Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо возникает все возникающее, а само оно ни из чего не возникает. Если бы начало возникло из чего-либо, оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно, оно и неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть из чего-либо, да и другое из него, так как все должно возникать из начала. Значит, начало движения — это то, что движет само себя. Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе бы все небо и вся Земля, обрушившись, остановились и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы к их новому возникновению.

Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим

собою, всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, — неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, — одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непо- 246
рождаема и бессмертна.

О ее бессмертии достаточно этого. А об ее идее надо сказать вот что: какова она — это всячески требует божественного и пространного изложения, а чему она подобна — это поддается и человеческому, более сжатому; так мы и будем говорить.

Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель правит упряжкой, а затем, и кони-то у него — один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь — его противоположность и предки его — иные. Неизбежно, что править нами — дело тяжкое и докучное.

Попробуем сказать и о том, как произошло название смертного и бессмертного существа. Всякая душа ведает всем неодушевленным, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи совершенной и окрыленной, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, — тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря ее силе кажется движущимся само собой; а что зовется живым существом, — все вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного.

О бессмертном же нельзя судить лишь по одному этому слову. Не видав и мысленно не постигнув в достаточной мере бога, мы рисуем себе некое бессмертное существо, имеющее душу, имеющее и тело, причем они нераздельны на вечные времена. Впрочем, тут, как угодно богу, так пусть и будет и так пусть считается.

Мы же коснемся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы свойственна способность подымать тяжелое в высоту, туда, где обитает род богов. А из всего, что связано с телом, душа больше всего приобщилась к божественному — божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и

взрачиваются крылья души, а от всего противоположного — от безобразного, дурного — она чахнет и гибнет.

Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, 247 выстроенное в одиннадцать отрядов; одна только Гестия³¹ не покидает дома богов, а из остальных все главные боги, что входят в число двенадцати, предводительствуют каждый порученным ему строем.

В пределах неба есть много блаженных зрелищ и нутей, которыми движется счастливый род богов; каждый из них свершает свое, а [за ними] следует всегда тот, кто хочет и может, — ведь зависть чужда сонму богов.

Отправляясь на праздничный пир, они поднимаются ь к вершине по краю поднебесного свода, и уже там их колесницы, не теряющие равновесия и хорошо управляемые, легко совершают путь; зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастил. От этого душе приходится мучиться и крайне напрягаться.

Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выходят наружу и останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба. с

Занебесную область не воснел никто из здешних поэтов, да никогда и не восноет по достоинству. Она же вот какова (ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее-то и направлен истинный род знания.

а Мысль бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев [подлинное] бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженствует, пока небесный свод не перенесет ее по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самую справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание — не то знание, которому присуще с возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Насладившись созерцанием всего того, что есть подлинное бытие,

душа снова спускается во внутреннюю область неба и приходит домой. По ее возвращении возничий ставит коней к яслям, задает им амброзии и вдобавок поит нектаром.

Такова жизнь богов. Что же до остальных душ, то у той, которая всего лучше последовала богу и угодилась ему, голова возничего поднимается в занебесную область и несется в круговом движении по небесному своду; но ей не дают покоя кони, и она с трудом созерцает бытие. Другая душа то поднимается, то опускается — кони рвут так сильно, что она одно видит, а другое нет. Вслед за ними остальные души жадно стремятся кверху, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напирают, пытаясь опередить одна другую. И вот возникает смятение, борьба, от напряжения их бросает в пот. Возничий с ними не справиться, многие калечатся, у многих часто ломаются крылья. Несмотря на крайние усилия, всем им не достичь созерцания [подлинного] бытия, и, отойдя, они довольствуются мнимым пропитанием.

Но ради чего так стараются узреть поле истины, увидеть, где оно? Да ведь как раз там, на лугах, пастбище для лучшей стороны души, а природа крыла, поднимающего душу, этим и питается. Закон же Адрастеи³² таков: душа, ставшая спутницей бога и увидевшая хоть частицу истины, будет благополучна вплоть до следующего кругооборота, и, если она в состоянии совершать это всегда, она всегда будет невредимой. Когда же она не будет в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения и зла и отяжелеет, а отяжелев, утратит крылья и падет на землю, тогда есть закон, чтобы при первом рождении не вселялась она ни в какое животное. Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней — в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья — в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвертая — в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к тайнствам; шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области подражания; седьмой — быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девя-

тая — тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит — худшую.

Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжение десяти тысяч лет — ведь она
249 не окрылится раньше этого срока, за исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюбленностью в юношей: эти души окрыляются за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни, и на трехтысячный год отходят. Остальные же по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора суда одни отбывают наказание, сошедши в подземные темницы, другие же, кого Дике³³ облегчила от груза и подняла в некую область неба, ведут
b жизнь соответственно той, какую они прожили в человеческом образе. На тысячный год и те и другие являются, чтобы получить себе новый удел и выбрать себе вторую жизнь — кто какую захочет. Тут человеческая душа может получить и жизнь животного, а из того животного, что было когда-то человеком, душа может снова вселиться в человека; но душа, никогда не выдавшая истины, не примет такого образа, ведь человек должен постигать [ее] в соответствии с идеей, исходящей от
c многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание³⁴ того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Поэтому по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем боже-
ствен бог. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным. И так
d как он стоит вне человеческой суеты и обращен к божественному, большинство, конечно, станет увещевать его, как помешанного, — ведь его иступленность скрыта от большинства.

Вот к чему пришло все наше рассуждение о четвертом виде неистовства: когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь; но, еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, — это и есть причина
e его неистового состояния. Из всех видов иступленности

эта — наилучшая уже по самому своему происхождению, как для обладающего ею, так и для того, кто ее с ним разделяет. Причастный к такому неистовству любитель прекрасного называется влюбленным. Ведь, как уже сказано, всякая человеческая душа по своей природе бывала созерцательницей бытия, иначе она не вселилась бы в это живое существо. 250

Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, нелегко любой душе: одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там; другие, упав сюда, обратились под чужим воздействием к неправде и на свое несчастье забыли все священное, виденное ими раньше. Мало остается таких душ, у которых достаточно сильна память. Они всякий раз, как увидят что-нибудь, подобное тому, что было там, бывают поражены и уже не владеют собой, а что это за состояние, они не знают, потому что недостаточно в нем разбираются. В здешних подоби- б
ях нет вовсе отблеска справедливости, воздержности и всего другого, ценного для души, но, подходя к этим изображениям, кое-кому, пусть и очень немногим, все же удастся, хотя и с трудом, разглядеть при помощи наших несовершенных органов, к какому роду относится то, что изображено.

Сияющую красоту можно было видеть тогда, когда мы вместе со счастливым сонмом видели блаженное зрелище, одни — следуя за Зевсом, а другие — за кем-нибудь другим из богов, и приобщались к таинствам, которые можно по праву назвать самыми блаженными и c
и которые мы совершали, будучи сами еще непорочными и не испытанными зла, ожидавшего нас впоследствии. Допущенные к видениям непорочным, простым, неколебимым и счастливым, мы созерцали их в свете чистом, чистые сами и еще не отмеченные, словно надгробием, той оболочкой, которую мы теперь называем телом и которую не можем сбросить, как улитка — свой домик ³⁵.

Благодаря памяти возникает тоска о том, что было тогда, — вот почему мы сейчас подробно говорили об этом. Как мы и сказали, красота сияла среди всего, что там было; когда же мы пришли сюда, мы стали воспри- d
нимать ее сияние всего отчетливее посредством самого отчетливого из чувств нашего тела — зрения, ведь оно самое острое из них. Но разумение недоступно зрению, иначе разумение возбудило бы необычайную любовь, если бы какой-нибудь отчетливый его образ оказался доступен зрению; точно так же и все остальное, что за-

служивает любви. Только одной красоте выпало на долю
с быть наиболее зримой и привлекательной. Человек,
очень давно посвященный в таинства или испорченный,
не слишком сильно стремится отсюда туда, к красоте са-
мой по себе: он видит здесь то, что носит одинаковое
с нею название, так что при взгляде на это он не испы-
тывает благоговения, но, преданный наслаждению, пы-
тается, как четвероногое животное, покрыть и оплодот-
ворить; он не боится наглого обращения и не стыдится
251 гнаться за противоестественным наслаждением. Между
тем человек, только что посвященный в таинства, много
созерцавший тогда все, что там было, при виде божест-
венного лица, хорошо воспроизводящего [ту] красоту
или некую идею тела, сперва испытывает трепет, на него
находит какой-то страх, вроде как было с ним и тогда;
затем он смотрит на него с благоговением, как на бога,
и, если бы не боялся прослыть совсем неистовым, он стал
бы совершать жертвоприношения своему любимцу,
словно кумиру или богу. А сто́ит тому на него взглянуть,
б как он сразу меняется, он как в лихорадке, его
бросает в пот и в необычный жар.

Восприняв глазами истечение красоты ³⁶, он согре-
вается, а этим укрепляется природа крыла: от тепла
размягчается вокруг ростка все, что ранее затвердело от
сухости и мешало росту; благодаря притоку питания,
стержень перьев набухает, и они начинают быстро расти
от корня по всей душе — ведь она вся была искони пер-
снатой. Пока это происходит, душа вся кипит и рвется
с наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раз-
дражение в деснах — точно такое же состояние испыты-
вает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при
этом испытывает раздражение и зуд, рождая крылья.

Глядя на красоту юноши, она принимает в себя вле-
кущиеся и истекающие оттуда частицы — недаром это
называют влечением ³⁷: впитывая их, она согревается,
д избавляется от муки и радуется. Когда же она вдалеке от
него, она сохнет: отверстия проходов, по которым про-
биваются перья, ссыхаются, закрываются, и ростки
перьев оказываются взаперти. Запертые внутри вместе
с влечением, они бьются наподобие пульса, трут и колют,
ища себе выхода — каждый росток отдельно для себя, —
так что душа, вся изнутри исколотая, мучается и терза-
ется, но все же, храня память о прекрасном, радуется.

Странность такого смешения ее терзает, в недоуме-
нии она неистовствует, и от иступления не может она

ни спать ночью, ни днем оставаться на одном месте. В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты. При виде его влечение разливается по ней, и то, что было ранее заперто, раскрывается: для души это передышка, когда прекращаются уколы и муки, в это время вкушает она сладчайшее удовольствие. По доброй воле она никогда от него не откажется, ее красавец для нее дороже всех; тут забывают и о матерях, и о братьях, и о всех приятелях, и потеря — по нерадению — состояния ей также нипочем. Презрев все обычаи и приличия, соблюдением которых щеголяла прежде, она готова рабски служить своему желанному и валяться где попало, лишь бы поближе к нему — ведь помимо благоговения перед обладателем красоты она обрела в нем единственного исцелителя величайших страданий.

Состояние, о котором у меня речь, прекрасный мой мальчик, люди зовут Эротом, а боги — ты, наверное, улыбнешься новизне прозвания: думаю, это кто-то из гомеридов приводит из отвергаемых песен два стиха об Эроте, причем один из них очень дерзкий и не слишком складный; поют же их так:

Смертные все прозвали его Эротом крылатым,
Боги ж — Птеротом, за то, что расти заставляет он крылья³⁸.

Этому можно верить, можно и не верить. Как бы то ни было, но причина такого состояния влюбленных именно в этом.

Если Эротом охвачен кто-нибудь из спутников Зевса, он в силах нести и более тяжелое бремя этого тезки крыла. Служители же Арея³⁹, вместе с ним совершавшие кругооборот, бывают склонны к убийству, если их одолел Эрот и они вдруг решат, что их чем-то обижает тот, в кого они влюблены; они готовы принести в жертву и самих себя, и своего любимца. Соответственно обстоит дело и с каждым богом: в сонме кого кто был, тот того и почитает и по мере сил подражает ему и в своей жизни, пока еще не испорчен и пока живет здесь в первом своем рождении, и в том, как он ведет себя и общается со своим возлюбленным и с остальными людьми.

Каждый выбирает среди красавцев возлюбленного себе по нраву и, словно это и есть Эрот, делает из него для себя кумира и украшает его, словно для священнодействий. Спутники Зевса ищут Зевсовой души в своем возлюбленном: они смотрят, склонен ли он по своей природе быть философом и вождем, и, когда найдут такого,

влюбляются и делают все, чтобы он таким стал. Если раньше они этим не занимались, то теперь они за это берутся, собирают сведения откуда только могут и учатся сами. Они стремятся выследить и найти в самих себе природу своего бога и добиваются успеха, так как принуждены пристально в этого бога всматриваться. Становясь прикосновенными ему при помощи памяти, они в иступлении воспринимают от него обычаи и нравы, насколько может человек быть причастен богу. Считая, что всем этим они обязаны тому, в кого влюблены, они еще больше его ценят; черная у Зевса, словно вакханки, и изливая почерпнутое в душу любимого, они делают его как можно более похожим на своего бога. Те же, кто следовал за Герой, ищут юношу царственных свойств и, найдя такого, ведут себя с ним точно так же.

Спутники Аполлона и любого из богов, идя по стопам своего бога, ищут юношу с такими же природными задатками, как у них самих, и, найдя его, убеждают его подражать их богу, как это делают они сами. Приучая любимца к стройности и порядку, они, насколько это кому по силам, подводят его к занятиям и к идее своего бога. Они не обнаруживают ни зависти, ни низкой вражды к своему любимцу, но всячески стараются сделать его похожим на самих себя и на бога, которого почитают. Если истинно влюбленные осуществляют так, как я говорю, то, к чему они усердно стремятся, то их усердие и посвященность в таинства оказываются прекрасными и благодетельными для того, кого взял себе в друзья его неистовый от любви друг. Пленение же избранника происходит следующим образом.

В начале этой речи мы каждую душу разделили на три вида: две части ее мы уподобили коням по виду, третью — возничему. Пусть и сейчас это будет так. Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных стáтей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинного мнения, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой — горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам.

Когда перед взором возничего предстает нечто достойное любви, чувство горячит ему всю душу и его терзают зуд и жала возбуждения, тот конь, что послушен возничему, одолеваемый своей обычной стыдливостью, сдерживает свой бег, чтобы не наскочить на любимого. А другого коня возничему уже не свернуть ни стрекалом, ни бичом: он вскачь несется изо всех сил. С ним мучение и его сотоварищу по упряжке, и возничему, он принуждает их приступить к любимцу с намеками на соблазнительность любовных утех. Оба они сперва сопротивляются, негодуя, потому что их принуждают к ужасным и незаконным делам. В конце же концов, так как беде нет предела, они поддаются туда, куда он их тянет, уступают и соглашаются выполнить его веления.

Вот они уже близко от любимого и видят его сверкающий взор. При взгляде на него память возничего несется к природе красоты и снова видит ее, воздвигшуюся вместе с рассудительностью на чистом и священном престоле, а увидев, устрашается, от благоговейного стыда падает навзничь и тем самым неизбежно натягивает вожжи так сильно, что оба коня заваливаются назад — один охотно, так как он не противится, но другой, наглый, — совсем против воли. Отпрянув назад, один конь от стыда и потрясения в душе обливается потом, а другой, чуть стихнет боль от узды и падения, едва переведя дух, начинает в гневе браниться, поносить и возничего, и сотоварища по упряжке за то, что те из трусости и по отсутствию мужества покинули строй вопреки уговору. И снова он принуждает их подойти против воли и с трудом уступает их просьбам отложить это до другого раза.

С наступлением назначенного срока он напоминает им об этом, а они делают вид, будто забыли. Он пускает в ход силу, ржет, тащит, принуждая приступить к любимцу с теми же речами. Чуть только они приблизятся к нему, он изгибается, вытягивает хвост и, закусив удила, бесстыдно тянет вперед.

Возничий, еще более испытывая прежнее состояние, откидывается назад, словно от бегового барьера, изо всех сил натягивает узду между зубами наглого коня, в кровь ранит ему злоречивый его язык и челюсти, пригнетая его голени и бедра к земле и причиняя ему боль. После того как дурной конь часто испытает это же самое и отбросит наглость, он смиренно следует намерениям своего возничего и при виде красавца погибает от страха. Тогда и получается, что душа влюбленного следует за любимцем

255 со стыдом и боязнь. Тот, кто не прикидывается влюбленным, а подлинно это переживает, чтит его всячески как богоравного. Да и сам юноша по своей природе — друг почитателю. Если раньше его осуждали его школьные товарищи или еще кто-нибудь, говоря, что постыдно сближаться с влюбленным, и потому он отталкивал влюбленного, то с течением времени юный возраст и неизбежность приведут его к этому общению. Ведь нет такого определения судьбы, чтоб дурной дурному был другом, а хороший хорошему — нет. Когда юноша допустит к себе влюбленного, вступит с ним в разговор и общение, близко увидит его благосклонность, он бывает поражен: он замечает, что дружба всех других его друзей и близких, вместе взятых, ничего не значит в сравнении с его боговдохновенным другом. Он постепенно сближается с влюбленным, соприкасаясь с ним в гимназиях и в других собраниях, и тогда поток того истечения, которое Зевс, влюбленный в Ганимеда⁴⁰, назвал влечением, обильно изливаясь на влюбленного, частью проникает в него, а частью, когда он уже переполнен, вытекает наружу. Как дуновение или звук, отраженные гладкой и твердой поверхностью, снова несутся туда, откуда они исходили, так и поток красоты снова возвращается в красавца чрез очи, то есть тем путем, по которому ему свойственно проникать в душу, теперь уже окрыленную; он орошает проходы крыльев, вызывает их рост и наполняет любовью душу возлюбленного.

Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить: наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти ее причину — от него утаилось, что во влюбленном, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утихает боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюбленному так же, как тот по нему: у юноши это всего лишь подобие, отображение любви, называет же он это, да и считает, не любовью, а дружбой. Как и у влюбленного, у него тоже возникает желание — только более слабое — видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает. Когда они лежат вместе, безудержный конь влюбленного находит, что сказать возникшему, и просит хоть малого наслаждения в награду за множество мук. Зато конь любимца не находит, что сказать; в волнении и смущении обнимает тот влюбленного, целует, ласкает его, как самого пре-

256

данного друга, а когда они лягут вместе, он не способен отказать влюбленному в его доле наслаждения, если тот об этом попросит. Но товарищ по упряжке вместе с возникшим снова противятся этому, стыдясь и убеждая.

Если победят лучшие духовные задатки человека, его склонность к порядку в жизни и к философии, то влюбленный и его любимец блаженно проводят здешнюю жизнь в единомыслии, владея собой и не нарушая скромности, поработив то, из-за чего возникает испорченность души, и дав свободу тому, что ведет к добродетели. После смерти, став крылатыми и легкими, они одерживают победу в одном из трех поистине олимпийских состязаний⁴¹, а большего блага не может дать человеку ни человеческий здравый смысл, ни божественное неистовство.

Если же они будут вести более грубую жизнь, чуждую философии и исполненную честолюбия, тогда, возможно, их безудержные кони, застав души врасплох — в минуту ли опьянения или просто беззаботности, — сведут их вместе и заставят их выбрать и свершить то, что превозносится большинством как самый блаженный удел. А свершив это, они и впредь будут к этому прибегать, хотя и нечасто, потому что это не согласуется с их общим духовным складом. Они тоже дружны, хотя и не так, как те, первые, и не расстаются не только пока влюблены, но и тогда, когда это пройдет, считая, что, раз они дали друг другу величайшие клятвы в верности, их уже нельзя нарушать и идти на ссору. При кончине они, хотя и бескрылые, покидают тело, уже полные стремления окрылиться, так что они тоже получают немалую награду за свое любовное неистовство. Ведь нет такого закона, чтобы сходили во мрак и странствовали под землей те, кто уже вступил на путь поднебесного странствия, — напротив, им назначена светлая жизнь и дано быть счастливыми, вместе странствовать и благодаря любви стать одинаково окрыленными, когда придет срок⁴².

Вот сколько божественных даров даст тебе, мой мальчик, дружба влюбленного. А близость с человеком, в тебя не влюбленным, разбавленная здравым смыслом смертных, руководствующаяся расчетливостью смертных, порождающая в душе милого низменный образ мыслей, восхваляемый большинством как добродетель, приведет только к тому, что душа будет девять тысяч лет бессмысленно слоняться по земле и под землей.

Вот, милый Эрот, дар тебе и возмещение: прекраснейшая и наилучшая покаянная песнь⁴³ — в меру наших сил. Это из-за Федра пришлось ее пропеть, да еще в особо поэтических выражениях. Если ты прощаешь мне прежнюю речь и тебе приятна эта, будь благосклонен и милостив: не отнимай у меня и не губи в гневе дарованное тобой же искусство любви. Дай, чтоб я стал дороже красавцам, чем до сих пор. Если в прежней речи мы с Федром сказали что-нибудь тебе не созвучное, вини в этом Лисия: он отец той речи. Отврати его от таких речей, обрати его к философии, как уже обратился к ней его брат Полемарх⁴⁴, чтобы этот поклонник Лисия не колебался более, как сейчас, но посвятил бы всю свою жизнь Эроту и философским речам!

Федр. Я молюсь вместе с тобой, Сократ: раз так для нас лучше, пусть так и сбудется! А речи твоей я уже давно удивляюсь — насколько красивее она у тебя вышла, чем первая. Я даже опасуюсь, как бы Лисий не показался мне мелким, если бы он пожелал противопоставить ей какую-нибудь другую речь. Да и в самом деле, удивительный ты человек, недавно один из наших государственных мужей бранил Лисия и попрекал, а ругая, все время называл его сочинителем речей⁴⁵. Быть может, Лисий из самолюбия воздержится теперь у нас от писательства.

**Теория
красноречия
на основе учения
о душе**

Сократ. Ох, юноша, смешные вещи ты говоришь! Ты совсем ошибаешься насчет твоего приятеля, если думаешь, что он так пуглив. По-твоему, и тот, кто его бранил, действительно высказывал порицание?

Федр. Так казалось, Сократ. Ты и сам знаешь, что люди влиятельные и почитаемые в городе стесняются писать речи и оставлять после себя сочинения, боясь, как бы молва не назвала их потом софистами.

Сократ. Ты забыл, Федр, что сладостная излучина получила свое название от большой излучины на Ниле⁴⁶. Кроме этой излучины ты не замечаешь и того, что как раз государственные мужи, много о себе воображающие, особенно любят писать речи и оставлять после себя сочинения. Написав какую-нибудь речь, они так ценят тех, кто ее одобряет, что на первом месте упоминают, кто и в каком случае их одобрил.

Федр. Как ты говоришь, не понимаю?

Сократ. Разве ты не знаешь, что в начале каждого

государственного постановления указывается прежде всего, кто его одобрил?

Федр. То есть?

Сократ. «Постановил» — так ведь говорится — «совет», или «народ», или они оба; «такой-то внес предложение» — здесь составитель речи с большой важностью и похвалой называет свою собственную особу, затем он переходит к изложению, выставляя напоказ перед теми, кто его одобрил, свою мудрость, причем иногда его сочинение получается чрезвычайно пространным. Это ли, по-твоему, не записанная речь?

Федр. Да, конечно.

Сократ. И вот, если его предложение будет принято, творец речи уходит из театра, радуясь⁴⁷. Если же оно будет отвергнуто, если он потерпит неудачу в сочинении речей, и его речь не будет достойна записи, тогда горюет и он сам и его приятели.

Федр. Конечно.

Сократ. Очевидно, они не презирают этого занятия, но, напротив, восхищаются им.

Федр. И даже очень.

Сократ. А если появится такой способный оратор или царь, что, обладая могуществом Ликурга, Солона, или Дария⁴⁸, обессмертит себя в государстве и как составитель речей? Разве не будет он сам себя считать богоравным еще при жизни? И разве не будет то же считать и потомство, взирая на его сочинения?

Федр. Конечно.

Сократ. Так, по-твоему, кто-либо из таких людей, как бы неприятен ему ни был Лисий, стал бы порицать его за то, что он пишет?

Федр. Из твоих слов вытекает, что это невероятно, иначе вышло бы, что он порицает то, к чему сам стремится.

Сократ. Значит, всякому ясно, что писать речи само по себе не постыдно (αἰσχρόν).

Федр. А что же тогда постыдно?

Сократ. По-моему, постыдно говорить и писать не так, как следует, а безобразно (αἰσχρῶς) и злонамеренно.

Федр. Это ясно.

Сократ. Какой же есть способ писать хорошо или, напротив, плохо? Надо ли нам, Федр, расспросить об этом Лисия или кого другого, кто когда-либо писал или будет писать, — все равно, сочинит ли он что-нибудь об общественных делах или частных, в стихах ли, как

поэт, или без размера, как любой из нас?

е Федр. Ты спрашиваешь, надо ли? Да для чего же, по правде говоря, и жить, как не для удовольствий такого рода? Ведь не для тех же удовольствий, которым должно предшествовать страдание, — иначе их и не ощутишь, как это бывает чуть ли не со всеми телесными удовольствиями (потому-то их по справедливости и называют рабскими).

259 Сократ. Досуг у нас, правда, есть. К тому же цикады над нашей головой поют, разговаривают между собой, как это обычно в самый зной, да, по-моему, они и смотрят на нас. Если они увидят, что и мы, подобно большинству, не ведем беседы в полдень, а по лености мысли дремлем, убаюканные ими, то справедливо осмеют нас, думая, что это какие-то рабы пришли к ним в убежище и, словно овцы в полдень, спят у родника. Если же они увидят, что мы, беседуя, не поддаемся их очарованию и плывем
ь мимо них, словно мимо сирен⁴⁹, они, в восхищении, пожалуй, уделят нам тот почетный дар, который получили от богов для раздачи людям.

Федр. Что же такое они получили? Я, по-видимому, и не слышал об этом.

Сократ. Не годится человеку, любящему Муз⁵⁰, даже и не слышать об этом! По преданию, цикады⁵¹ некогда были людьми, еще до рождения Муз. А когда родились Музы и появилось пение, некоторые из тогдашних людей пришли в такой восторг от этого удовольствия,
с что среди несен они забывали о пище и питье и в самозабвении умирали. От них после и пошла порода цикад: те получили такой дар от Муз, что, родившись, не нуждаются в пище, но сразу же, без пищи и питья, начинают петь, пока не умрут, а затем идут к Музам известить их, кто из земных людей какую из них почитает. Известив Терпсихору о тех, кто почтил ее в хороводах, они сниски-
д вают к ним у нее расположение; у Эрато — к тем, кто почтил ее в любовных песнях, и то же с остальными Музами, соответственно виду почитания каждой из них. Самую старшую из Муз — Каллиопу — и следующую за ней — Уранию — они извещают о людях, посвятивших свою жизнь философии и почитающих то, чем ведают эти Музы. Ведь среди Муз эти две больше всех причастны небу и учениям, божественным и человеческим, потому их голос всего прекраснее. Значит, по многим причинам нам с тобой надо беседовать, а не спать в полдень.

Федр. Конечно, будем беседовать.

Сократ. Стало быть, нам предстоит рассмотреть, как мы только что и собирались сделать, от чего это зависит — говорить и писать хорошо или нехорошо.

Федр. Очевидно.

Сократ. Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чем он собирается говорить?

Федр. Об этом, милый Сократ, я так слышал: тому, кто намеревается стать оратором, нет необходимости понимать, что действительно справедливо, — достаточно знать то, что кажется справедливым большинству, которое будет судить. То же самое касается и того, что в самом деле хорошо и прекрасно, — достаточно знать, что таковым представляется. Именно так можно убедить, а не с помощью истины.

Сократ. «Мысль не презренная»⁵², Федр, раз так говорят умные люди, но надо рассмотреть, есть ли в ней смысл. Поэтому нельзя оставить без внимания то, что ты сейчас сказал.

Федр. Ты прав.

Сократ. Рассмотрим это следующим образом.

Федр. Каким?

Сократ. Например, я убеждал бы тебя приобрести коня, чтобы сражаться с неприятелем, причем мы с тобой оба не знали бы, что такое конь, да и о тебе я знал бы лишь то, что Федр считает конем ручное животное с большими ушами...

Федр. Это было бы смешно, Сократ.

Сократ. Пока еще нет, но так было бы, если бы я стал всерьез тебя убеждать, сочинив похвальное слово ослу, называя его конем, что непременно стоит завести эту скотинку не только дома, но и в походе, так как она пригодится в битве, для перевоза клади и еще многого другого.

Федр. Вот это было бы совсем смешно!

Сократ. А разве не лучше то, что смешно да мило, чем то, что страшно и враждебно?

Федр. Это очевидно.

Сократ. Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что — зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла⁵³, выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хорошего, ка-

а кие, по-твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?

Ф е д р. Не очень-то подходящие.

С о к р а т. Впрочем, друг мой, не слишком ли резко мы нападаем на ораторское искусство? Оно, пожалуй, возразило бы нам: «Что за вздор вы несете, странные вы люди! Никого, кто не знает истины, я не принуждаю учиться говорить, напротив, — если мой совет что-нибудь значит, — пусть лишь обладающий истиной приступает затем ко мне. Я притязую вот на что: даже знающий истину не найдет помимо меня средства искусно убеждать».

е Ф е д р. Разве не было бы оно право, говоря так?

С о к р а т. Согласен, если подходящие к случаю доказательства подтвердят, что оно — искусство. Мне сдается, будто я слышу, как некоторые из них подходят сюда и свидетельствуют, что красноречие не искусство, а далекий от него навык. Подлинного искусства речи, сказал лаконец, нельзя достичь без познания истины, да и никогда это не станет возможным⁵⁴.

261 Ф е д р. Эти доказательства⁵⁵ необходимы, Сократ. Приведи их сюда и допроси: что и как они утверждают?

С о к р а т. Придите же сюда, благородные создания, и убедите Федра, отца прекрасных детей, что, если он окажется недостаточно искушен в философии, он никогда не будет способен о чем-либо говорить. Пусть Федр отвечает вам.

Ф е д р. Спрашивайте.

С о к р а т. Искусство красноречия⁵⁶ не есть ли вообще умение увлекать души словами, не только в судах и других общественных собраниях, но и в частном быту? Идет ли речь о мелочах или о крупных делах, — оно все то же, и, к чему бы его ни применять правильно — к важным ли делам или к незначительным, — оно от этого не становится ни более, ни менее ценным. Или ты об этом слышал не так?

Ф е д р. Клянусь Зевсом, не совсем так. Говорят и пишут искусно прежде всего для тяжб, говорят искусно и в народном собрании. А о большем я не слыхал.

С о к р а т. Значит, ты слышал только о наставлениях в красноречии, которые написали в Илионе Нестор и Одиссей, чтобы занять свой досуг, а о наставлениях Паламеда⁵⁷ ты не слыхал?

с Ф е д р. Да я, клянусь Зевсом, и о наставлениях Нестора не слыхал, если только ты не сделаешь из Горгия

какого-то Нестора, а Одиссея — из какого-нибудь Фрасимаха и Феодора⁵⁸.

Сократ. Может быть. Но оставим их. Скажи мне, что делают на суде тяжущиеся стороны? Не спорят ли они, или назвать это как-то иначе?

Федр. Нет, именно так.

Сократ. Спорят о том, что справедливо и что несправедливо?

Федр. Да.

Сократ. И тот, кто делает это искусно, сумеет представить одно и то же дело одним и тем же слушателям то справедливым, то, если захочет, несправедливым?

Федр. И что же?

Сократ. Да и в народном собрании одно и то же покажется гражданам иногда хорошим, а иногда наоборот.

Федр. Это так.

Сократ. Разве мы не знаем, как искусно говорит элейский Паламед⁵⁹: его слушателям одно и то же представляется подобным и неподобным, единым и множественным, покоящимся и несущимся.

Федр. Да, конечно.

Сократ. Следовательно, искусство спора применяется не только на суде и в народном собрании, но, по-видимому, это какое-то единое искусство, — если уж оно искусство, — одинаково применимое ко всему, о чем бы ни шла речь; при его помощи любой сумеет уподобить все, что только можно, всему, что только можно, и вывести на чистую воду другого с его туманными уподоблениями.

Федр. Как, как ты говоришь?

Сократ. Тем, кто доискивается, можно, по-моему, разъяснить это так: обмануться легче при большой или при малой разнице между вещами?

Федр. При малой.

262

Сократ. Переход к противоположности разве не будет менее заметен, если его совершать постепенно, чем если резко?

Федр. Как же иначе?

Сократ. Значит, кто собирается обмануть другого, не обманываясь сам, тот должен досконально знать подобие и неподобие всего существующего.

Федр. Это необходимо.

Сократ. А может ли тот, кто ни об одной вещи не

знает истины, различить сходство непознанной вещи с другими вещами, будь оно малым или большим?

б Федр. Это невозможно.

Сократ. Значит, ясно: у тех, кто имеет неверные мнения о существующем и поддается обману, причина их беды — какое-то подобие между вещами.

Федр. Да, так бывает.

Сократ. Может ли быть, чтобы тот, кто всякий раз уводит от бытия к его противоположности, сумел искусно делать постепенные переходы на основании подобия между вещами? И сам он избежит ли ошибки, раз он не знает, что такое та или иная вещь из существующих?

Федр. Этого никак не может быть.

с Сократ. Значит, друг мой, кто не знает истины, а гоняется за мнениями, у того искусство речи будет, видимо, смешным и искусным.

Федр. Пожалуй, так.

Сократ. Хочешь посмотреть, что в речи Лисия, которую ты сюда принес, и в тех речах, которые мы с тобой здесь произнесли, было, по нашему слову, искусным и что искусным?

Федр. С превеликой охотой; а то мы сейчас говорим как-то голословно, без достаточных примеров.

д Сократ. Видимо, это просто случайность, что обе речи являют пример того, как человек хотя и знает истину, но может, забавляясь в речах, завлечь своих слушателей. Я, Федр, виню в этом здешних богов. А может быть, и эти провозвестники Муз, певцы над нашей головой, вдохнули в нас этот дар — ведь я-то, по крайней мере, вовсе не причастен к искусству речи.

Федр. Пусть это так, как ты говоришь, но только поясни свою мысль.

Сократ. Ну-ка, прочти мне начало речи Лисия.

с Федр. «О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если они осуществляются. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом...»

Сократ. Погоди. Ведь мы хотели указать, в чем Лисий допускает погрешность и что он делает искусно, — не так ли?

263 Федр. Да.

Сократ. Не ясно ли всякому, что кое с чем из этого мы согласны, а кое-что нас возмущает?

Федр. Кажется, я улавливаю твою мысль, но говори яснее

Сократ. Когда кто-нибудь назовет железо или серебро, разве мы не мыслим все одно и то же?

Федр. Конечно, одно и то же.

Сократ. А если кто назовет справедливость и благо? Разве не толкует их всякий по-своему, и разве мы тут не расходимся друг с другом и сами с собой?

Федр. И даже очень.

Сократ. Значит, кое в чем мы согласны, а кое в чем и нет.

Федр. Да, так.

Сократ. В чем же нас легче обмануть и где красноречие имеет большую силу?

Федр. Видно, там, где мы блуждаем без дороги.

Сократ. Значит, тот, кто намерен заняться ораторским искусством, должен прежде всего произвести правильное разделение и уловить, в чем признак каждой его разновидности — и той, где большинство неизбежно блуждает, и той, где этого нет.

Федр. Прекрасную его разновидность, Сократ, постиг бы тот, кто уловил бы это!

Сократ. Затем, думаю я, в каждом отдельном случае он не должен упускать из виду, но, напротив, как можно острее чувствовать, к какому роду относится то, о чем он собирается говорить.

Федр. Конечно.

Сократ. Так что же? Отнесем ли мы любовь к тем предметам, относительно которых есть разногласия, или нет?

Федр. Да еще какие разногласия! Иначе как бы, по-твоему, тебе удалось высказать о ней все то, что ты только что наговорил: она — пагуба и для влюбленного и для того, кого он любит, а с другой стороны, она — величайшее благо.

Сократ. Ты совершенно прав. Но скажи еще вот что: я из-за своего восторженного состояния не совсем помню, дал ли я определение любви в начале моей речи?

Федр. Клянусь Зевсом, да, и притом поразительно удачное.

Сократ. То-то же! Насколько же, по этим твоим словам, нимфы, дочери Ахелоя, и Пан⁶⁰, сын Гермеса, искуснее в речах, чем Лисий, сын Кефала! Или я ошибаюсь, или Лисий в начале своей любовной речи заставил нас принять Эрота за одно из проявлений бытия —

с правда, такое, как ему самому было угодно, — и на этом построил всю свою речь до конца. Хочешь, мы еще раз прочтем ее начало?

Ф е д р. Если тебе угодно. Однако там нет того, что ты ищешь.

С о к р а т. Прочти, чтобы мне услышать его самого.

Ф е д р. «О моих намерениях ты знаешь, слышал уже и о том, что я считаю для нас с тобой полезным, если
264 они осуществляются. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен: влюбленные раскаиваются потом в своем хорошем отношении, когда проходит их страсть».

С о к р а т. У него, видно, совсем нет того, что мы ищем. Он стремится к тому, чтобы его рассуждение плыло не с начала, а с конца, на спине назад. Он начинает с того, чем кончил бы влюбленный свое объяснение с любимцем. Или я не прав, милый ты мой Федр?

б Ф е д р. Действительно, Сократ, то, о чем он здесь говорит, это — заключение речи.

С о к р а т. А остальное? Не кажется ли, что все в этой речи набросано как попало? Разве очевидно, что именно сказанное во-вторых, а не другие высказывания должно непременно занимать второе место? Мне, как невежде, показалось, что этот писатель отважно высказывал все, что ему приходило в голову. Усматриваешь ли ты какую-нибудь необходимость для сочинителей располагать все в такой последовательности, как у Лисия?

с Ф е д р. Ты слишком любезен, если думаешь, что я способен так тщательно разобрать все особенности его сочинения.

С о к р а т. Но по крайней мере вот что ты мог бы сказать: всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать целому.

Ф е д р. Как же иначе?

С о к р а т. Вот и рассмотри, так ли обстоит с речью твоего приятеля или иначе. Ты найдешь, что она ничем не отличается от надписи, которая, как рассказывают, была на гробнице фригийца Мидаса⁶¹.

д Ф е д р. А какая это надпись и что в ней особенного?

С о к р а т. Она вот какова:

Медная девушка я, на гробнице Мидаса покоюсь.
Воды доколе текут и пышно древа расцветают,

Я безотлучно пребуду на сей многослезной могиле,
Мимо идущим вещая, что здесь Мидас похоронен.

Ты, я думаю, заметил, что тут все равно, какой стих
читать первым, какой последним.

Федр. Ты высмеиваешь нашу речь, Сократ?

Сократ. Так оставим ее, чтобы тебя не сердить,
хотя, по-моему, в ней есть много примеров, на которые
было бы полезно обратить внимание, но пытаться подра-
жать им не очень-то стоит. Перейдем к другим речам.
В них было, мне кажется, нечто такое, к чему следует
присмотреться тем, кто хочет исследовать красноречие.

Федр. Что ты имеешь в виду?

265

Сократ. Эти две речи были противоположны друг
другу. В одной утверждалось, что следует угождать
влюбленному, в другой — что невлюбленному.

Федр. И очень решительно утверждалось.

Сократ. Я думал, ты скажешь «неистово» — это
было бы правдой, как раз этого я и добивался: ведь мы
утверждали, что любовь есть некое неистовство. Не
так ли?

Федр. Да.

Сократ. А неистовство бывает двух видов: одно —
следствие человеческих заболеваний, другое же — бо-
жественного отклонения от того, что обычно принято.

Федр. Конечно, так.

b

Сократ. Божественное неистовство, исходящее от
четырех богов, мы разделили на четыре части: вдохно-
венное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение
в таинства — к Дионису, творческое неистовство — к
Музам, четвертую же часть к Афродите и Эроту —
и утверждали, что любовное неистовство всех лучше. Не
знаю, как мы изобразили любовное состояние: быть мо-
жет, мы коснулись чего-то истинного, а возможно, и
уклонились в сторону, но, добавив не столь уж неубе-
дительное рассуждение, мы с должным благоговением
прославили в сказочном гимне моего и твоего, Федр,
владыку Эрота, покровителя прекрасных юношей.

Федр. Слушать мне было наслаждение!

Сократ. Одно постараемся из этого понять — как
могло наше рассуждение от прорицания перейти к по-
хвале.

Федр. Как же это, по-твоему?

Сократ. Мне кажется, все было там в сущности
только шуткой, кроме одного: все, что мы там случайно

д наговорили, — двух видов, и суметь искусно применить их возможности было бы для всякого благодарной задачей.

Федр. Какие это виды?

Сократ. Первый — это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения. Так поступили мы только что, говоря об Эроте: сперва определили, что он такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать; поэтому наше рассуждение вышло ясным и не противоречило само себе.

Федр. А что ты называешь другим видом, Сократ?

Сократ. Второй вид — это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них, как это бывает у дурных поваров: так, в обеих наших недавних речах мы отнесли неразумную часть души к какому-то одному общему виду. Подобно тому как в едином от природы человеческом теле имеется две одноименные части, 266 лишь с обозначением «левая» или «правая», так обстоит дело и с состоянием безумия, которое обе наши речи признали составляющим в нас от природы единый вид, но одна речь выделила из него часть, обращенную налево, и не остановилась на этом делении, пока не нашла там некую так называемую левую любовь, которую вполне справедливо и осудила; другая же наша речь ведет нас к правой части неистовства, одноименной с первой, и находит там некую божественную любовь, которой отдает ь предпочтение, и восхваляет ее как причину величайших для нас благ.

Федр. Ты говоришь в высшей степени верно.

Сократ. Я, Федр, и сам поклонник такого различения и обобщения — это помогает мне рассуждать и мыслить. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я го尼亚юсь

Следом за ним по пятам, как за богом⁶².

Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может ь делать, знает бог, а называю я их и посейчас диалектиками⁶³. Но скажи, как назвать тех, кто учился у тебя и у Лисия? Или это как раз и есть то искусство речи, пользуясь которым Фрасимах и прочие и сами стали премуд-

рыми в речах, и делают такими всех, кто только пожелает приносить им дары, словно царям?

Ф е д р. Люди они, правда, царственные, однако в том, о чем ты спрашиваешь, несведущие. Но мне кажется, ты правильно назвал этот вид диалектическим; а вот тот, что касается красноречия, по-моему, все еще от нас ускользает.

С о к р а т. Как ты говоришь? Может существовать нечто прекрасное и помимо диалектики, которое тоже относится к искусству? Во всяком случае ни мне, ни тебе нельзя этим пренебрегать и надо поговорить о том, что это такое — я имею в виду красноречие.

Ф е д р. Об этом очень много говорится, Сократ, в книгах, написанных об искусстве речи.

С о к р а т. Хорошо, что ты напомнил. По-моему, на первом месте, в начале речи, должно быть вступление. Ведь это ты считаешь, не правда ли, тонкостями искусства?

Ф е д р. Да.

С о к р а т. На втором месте — изложение и свидетельство, на третьем месте — доказательства, на четвертом — правдоподобные выводы. А настоящий Дедал речей, тот, что родом из Византии⁶⁴, называет еще подтверждение и добавочное подтверждение.

Ф е д р. Ты говоришь о славном Феодоре?

С о к р а т. Конечно. И еще, утверждает он, надо применять опровержение и добавочное опровержение как при обвинении, так и при защите. А прекраснейшему Евену с Пароса⁶⁵ разве мы не отведем видного места? Он первый изобрел побочное объяснение и косвенную похвалу. Говорят, он, чтобы легче было заномнить, изложил свои косвенные порицания в стихах — такой искусник!

Тисий⁶⁶ же и Горгий пусть спокойно спят: им привиделось, будто вместо истины надо больше почитать правдоподобие; силу своего слова они заставляют малое казаться большим, а большое — малым, новое представляют древним, а древнее — новым, по любому поводу у них наготове то сжатые, то беспрельдно пространные речи. Услышав как-то об этом от меня, Продик рассмеялся и сказал, что лишь он один отыскал, в чем состоит искусство речей: они не должны быть ни длинными, ни краткими, но в меру.

Ф е д р. Ты всех умнее, Продик⁶⁷!

С о к р а т. А о Гипсии⁶⁸ не будем говорить? Я думаю,

что одного с ним взгляда был бы и наш гость из Элеи.

Ф е д р. Наверно.

С о к р а т. А что нам сказать о словотворчестве Пола — о его удвоениях, изречениях и образных выражениях, обо всех этих словесах Ликимния⁶⁹, подаренных Полу для благозвучия?

Ф е д р. А у Протагора⁷⁰, Сократ, разве не было чего-нибудь в этом же роде?

С о к р а т. Какое-то учение о правильности речи, дитя мое, и много еще хороших вещей. Но в жалобно-стонущих речах о старости и нужде всех одолели, по моему, искусство и мощь халкедонца⁷¹. Он умеет и вызывать гнев толпы, и снова своими чарами укротить разгневанных — так он уверяет. Потому-то он так силен, когда требуется оклеветать или опровергнуть клевету.

Что же касается заключительной части речей, то у всех, видимо, одно мнение, только одни называют ее сжатым повторением, а другие иначе.

Ф е д р. Ты говоришь, что под конец нужно в главных чертах напомнить слушателям обо всем сказанном?

С о к р а т. Да, по-моему, так; но не можешь ли ты добавить еще что-нибудь об искусстве красноречия?

Ф е д р. Мелочи, о них не стоит говорить.

268 С о к р а т. Оставим в стороне мелочи. Лучше вот что рассмотрим при ярком свете дня: как и когда красноречие воздействует своим искусством?

Ф е д р. Оно действует очень сильно, Сократ, особенно в многолюдных собраниях.

С о к р а т. Да, это так. Но, друг мой, взгляни и скажи, не кажется ли тебе, как и мне, что вся основа этой их ткани разлезлась?

Ф е д р. Объясни, как это.

С о к р а т. Скажи-ка мне, если кто обратится к твоему приятелю Эриксимаху или к его отцу Акумену⁷² и скажет: «Я умею как-то так воздействовать на человеческое тело, что оно по моему усмотрению может стать горячим или холодным, а если мне вздумается, я могу вызвать рвоту или понос и многое другое в том же роде. Раз я это умею, я притязую на то, чтобы быть врачом, и могу сделать врачом и другого, кому я передам это свое умение». Что бы, по-твоему, сказали Эриксимах или Акумен ему в ответ?

Ф е д р. Ничего, они бы только спросили, знает ли он добавок, к кому, когда и в какой мере следует применять каждое из его средств?

Сократ. А если бы он сказал: «Ничуть, но я считаю, что мой выученик сам сможет сделать то, о чем ты спрашиваешь».

Федр. Они сказали бы, я думаю, что этот человек не в своем уме: он вычитал кое-что из книг или случайно ему попались в руки лекарства, и вот он возомнил себя врачом, ничего в этом деле не смысля.

Сократ. А если бы кто-нибудь в свою очередь обратился к Софоклу и Еврипиду⁷³ и заявил, что умеет о пустяках сочинять длиннейшие речи, а о чем-нибудь великом, наоборот, весьма сжатые и по своему желанию делать их то жалостными, то, наоборот, устрашающими, грозными и так далее, а также что он уверен, будто, обучая всему этому, передаст другим умение создавать трагедии?

Федр. И Софокл и Еврипид, думаю я, Сократ, осмелили бы того, кто считает, будто трагедия не есть сочетание подобных речей, но связных и составляющих единое целое.

Сократ. Но я думаю, они не стали бы его грубо бранить. Так, знаток музыки при встрече с человеком, считающим себя знатоком гармонии только потому, что он умеет настраивать струну то выше, то ниже, не скажет грубо: «Бедняга, ты, видно, рехнулся», — но, напротив, скажет очень мягко, как подобает человеку, причастному музыке: «Уважаемый, конечно, и это необходимо уметь тому, кто собирается заняться гармонией, но это не исключает того, что человек в твоём положении нимало не смыслит в гармонии: у тебя есть необходимые предварительные сведения по гармонии, но самой гармонии ты не знаешь».

Федр. Совершенно верно.

Сократ. Значит, и Софокл сказал бы тому, кто захотел бы блеснуть перед ними, что это всего лишь подступы к трагедии, а не трагическое искусство; и Акумен сказал бы, что здесь лишь подступы к врачеванию, а не само искусство.

Федр. Разумеется.

Сократ. А что, по нашему мнению, сделал бы сладкоречивый Адраст или хотя бы Перикл⁷⁴, если бы они услышали о только что упомянутых нами замечательных ухищрениях — о краткости, об образном способе выражения и так далее, что, как мы сказали, надо рассматривать при ярком свете дня? Не были бы они раздосадованы, как мы с тобой, и не вырвалось бы у них, по неот-

санности, неучтивое слово в отношении тех, кто все это пишет и учит этому под видом искусства красноречия. Или, может быть, — они ведь умнее нас — только бы нас упрекнули, сказавши: «Нечего сердиться, Федр и Сократ, надо отнестись снисходительно, если люди, не умеющие рассуждать, не способны определить, что такое искусство красноречия. Из-за этого они, обладая лишь необходимыми предварительными сведениями, считают, c будто изобрели ораторское искусство и, когда преподают его другим, уверены, что передают им совершенное искусство красноречия. А говорить о каждом предмете убедительно и сочетать все в одно целое, это, по их мнению, нетрудно, и ученики сами собой должны достичь этого в своих речах».

Федр. Ведь действительно, Сократ, именно таково искусство, которому под видом красноречия обучают эти люди и о котором они пишут. Мне кажется, ты верно d сказал. Но как и откуда можно научиться искусству подлинного и убедительного красноречия?

Сократ. С этой возможностью, Федр, как и с возможностью стать совершенным борцом, дело обстоит, вероятно, — а может быть, и необходимо, — так же, как и со всем остальным: если у тебя есть природные задатки оратора, ты станешь выдающимся оратором, приложив к этому знания и упражнения. В чем из этого у тебя окажется недостаток, то и будет твоим слабым местом. Сколько здесь от искусства — ясно, по-моему, из нашего рассмотрения, но это не обнаружится на том пути, которым следуют Лисий и Фрасимах.

Федр. А на каком же?

e Сократ. Видимо, друг мой, не случайно Перикл всех превзошел в красноречии.

Федр. Почему же?

Сократ. Сколько ни есть великих искусств, все 270 они, кроме того, нуждаются в тщательном исследовании природы вещей возвышенных. Отсюда, видимо, как-то и пронстекает высокий образ мыслей и совершенство во всем. Этим и обладает Перикл кроме своей природной одаренности. Сблизившись с Анаксагором⁷⁵, человеком, по-моему, как раз такого склада, Перикл преисполнился познания возвышенного и постиг природу ума и мышления, о чем Анаксагор часто вел речь; отсюда Перикл извлек пользу и для искусства красноречия.

Федр. Как ты это понимаешь?

b Сократ. Пожалуй, в искусстве врачевания те же

самые приемы, что и в искусстве красноречия.

Ф е д р. Как так?

С о к р а т. И тут и там нужно разбираться в природе, в одном случае — тела, в другом — души, если ты намерен пользоваться не навыком и опытом, а искусством, применяя в первом случае лекарства и питание для восстановления здоровья и сил, а во втором — беседы и надлежащие занятия, чтобы привить желательное умение убеждать и добродетель.

Ф е д р. Наверно, это так, Сократ.

С о к р а т. Думаешь ли ты, что можно достойным образом постичь природу души, не постигнув природы целого?

Ф е д р. Если должно в чем-то верить Асклеиаду Гиппократу⁷⁶, то даже природу тела нельзя постигнуть иным путем.

С о к р а т. Это он прекрасно говорит, друг мой. Однако кроме Гиппократа надо еще обратиться к разуму и посмотреть, согласен ли он с Гиппократом.

Ф е д р. Я полагаю.

С о к р а т. Итак, посмотри, что говорит о природе Гиппократ, а что — истинный разум. Разве не так следует мыслить о природе любой вещи: прежде всего, простая ли это вещь — то, в чем мы и сами хотели бы стать искусными и других умели бы делать такими, или она многовидна; затем, если это простая вещь, надо рассмотреть ее способности: на что и как она по своей природе может воздействовать или, наоборот, что и как может воздействовать на нее? Если же есть много ее видов, то надо их сосчитать и посмотреть свойства каждого (так же как в том случае, когда она едина): на что и как каждый вид может по своей природе воздействовать и что и как может воздействовать на него.

Ф е д р. Пожалуй, это так, Сократ.

С о к р а т. Иначе рассмотрение походило бы на блуждание слепого. А тому, кто причастен искусству, никак нельзя уподобляться слепому или глухому. Ясно, что, кто по правилам искусства наставляет другого в сочинении речей, тот в точности покажет сущность природы того, к чему обращена речь, — а это будет душа.

Ф е д р. Конечно. И что же?

С о к р а т. И все его усилия направлены на это — 271
ведь именно душу старается он убедить. Не так ли?

Ф е д р. Да.

С о к р а т. Значит, ясно, что Фрасимах или кто дру-

гой, если он всерьез преподает ораторское искусство, прежде всего со всей тщательностью будет писать о душе и наглядно покажет, одина и единообразна ли она по своей природе или же у нее много видов, соответственно сложению тела. Это мы и называем показать природу [какой-либо вещи].

Федр. Совершенно верно.

Со크라 т. Во-вторых, он укажет, на что и как душа по своей природе воздействует и что и как воздействует на нее.

Федр. И дальше?

Со크라 т. В-третьих, стройно расположив виды речей и души и их состояния, он разберет все причины, установит соответствие каждого [вида речи] каждому [виду души] и научит, какую душу какими речами и по какой причине непременно удастся убедить, а какую — нет.

Федр. Это было бы, верно, очень хорошо.

Со크라 т. Право же, друг мой, если объяснять или излагать иначе, то ни этого и вообще никогда ничего не удастся изложить ни устно, ни письменно в соответствии с правилами искусства. А те, кого ты слушал, эти нынешние составители руководств по искусству речи, они плуты и только скрывают, что отлично знают человеческую душу. Так что пока они не станут говорить и писать именно этим способом, мы не поверим им, что их руководства написаны по правилам искусства.

Федр. Какой способ ты имеешь в виду?

Со크라 т. Здесь нелегко подобрать точные выражения, но я хочу указать, как надо писать, чтобы это, насколько возможно, было сделано по правилам искусства.

Федр. Так укажи.

Со크라 т. Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа: их столько-то и столько-то, они такие-то и такие-то, поэтому слушатели бывают такими-то и такими-то. Когда это должным образом разобрано, тогда устанавливается, что есть столько-то и столько-то видов речей и каждый из них такой-то. Таких-то слушателей по такой-то причине легко убедить в том-то и том-то такими-то речами, а такие-то потому-то и потому-то с трудом поддаются убеждению. Кто достаточно все это продумал, тот затем наблюдает, как это осуществляется и применяется на деле, причем он должен уметь остро воспринимать и прослеживать,

иначе он не прибавит ничего к тому, что он еще раньше слышал, изучая красноречие. Когда же он будет способен определять, какими речами какой человек даст себя убедить, тогда при встрече с таким человеком он сможет распознать его и дать себе отчет, что вот как раз тот человек и та природа, о которой прежде шла речь. Теперь она на самом деле предстала перед ним, и к ней надо вот так применить такие-то речи, чтобы убедить ее в том-то. 272
Сообразив все это, он должен учесть время, когда ему удобнее говорить, а когда и воздержаться: все изученные им виды речей — сжатую речь, или жалостливую, или возбуждающую — ему следует применять вовремя и кстати: только тогда, и никак не ранее, его искусство будет разработано прекрасно и совершенно. Если же, произнося речь, сочиняя или обучая, он упустит хоть что-нибудь из этого, а между тем станет утверждать, что придерживается правил искусства, прав будет тот, кто ему не поверит. «Что же, Федр и Сократ, — скажет, пожалуй, такой сочинитель, — таково ваше мнение? А разве нельзя как-нибудь иначе понимать то, что называют искусством красноречия?»

Ф е д р. Невозможно иначе, Сократ, хотя дело это, видимо, не малое.

С о к р а т. Ты прав. Именно поэтому нужно, поворачивая каждую речь то так, то этак, смотреть, не найдется ли какой-нибудь более легкий и короткий путь к искусству красноречия, чтобы не идти понапрасну долгим и тернистым путем, когда можно избрать короткий и ровный. Если же ты, слушавший Лисия и других, можешь оказать нам какую-то помощь, то попытайся припомнить и изложить то, что ты слышал. c

Ф е д р. Можно было бы попытаться, но сейчас я не расположен.

С о к р а т. Хочешь, я скажу тебе одну вещь, которую слышал от тех, кто занимается этим делом?

Ф е д р. Что именно?

С о к р а т. Есть же поговорка, Федр, что стоит иногда повторить и слова волка⁷⁷.

Ф е д р. Так ты это и сделай. d

С о к р а т. Итак, они утверждают, что в этом деле вовсе не надо заноситься так высоко и пускаться в длинные рассуждения. По их мнению, — и как мы уже сказали в начале этого рассуждения, — тому, кто собирается стать хорошим оратором, совершенно излишне иметь истинное представление о справедливых и хороших де-

лах или о людях, справедливых и хороших по природе либо по воспитанию. В судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобию, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь. Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор из всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной.

273 Провести это через всю речь — вот в чем и будет состоять все искусство.

Федр. Ты, Сократ, как раз коснулся того, что говорят люди, выдающие себя за знатоков красноречия. Припоминаю, что мы с тобой и раньше мимоходом касались этого, а ведь это очень важно для всех, кто занимается таким делом.

Сократ. Но ты тщательно изучил самого Тисия, так пусть Тисий нам и скажет, согласен ли он с большинством относительно того, что такое правдоподобие.

Федр. Как он может быть не согласен?

Сократ. Вот какой случай Тисий, по-видимому, умно придумал и искусно описал: если слабосильный, но храбрый человек побьет сильного, но трусливого, отнимет у него плащ или еще что-нибудь, то, когда их вызовут в суд, ни одному из них нельзя говорить правду: трусу не следует признаваться, что его избил один человек, оказавшийся храбрецом. Тому же надо доказывать, что они встретились один на один, и напирать на такой довод: «Как же я, вот такой, мог напасть на такого?» Сильный не признается в своей трусости, но попытается что-нибудь соврать и тем самым, возможно, даст своему противнику повод его уличить. И в других случаях бывают искусные речи в таком же роде. Разве не так, Федр?

Федр. Ну и что же?

Сократ. Ох, и ловко же прикрытое искусство избрал Тисий или кто бы там ни был другой и как бы он ни назывался! Но, друг мой, сказать ли нам ему или нет...

Федр. Что?

Сократ. А вот что: «Мы, Тисий, задолго до твоего появления говорили, бывало, что большинству людей правдоподобным кажется то, что подобно истине. А вот сейчас мы разбирали разные случаи подобия и показали, что лучше всего умеет его находить всюду тот, кто

знает истину. Так что, если ты утверждаешь что-нибудь новое относительно искусства красноречия, мы послушаем, если же нет, мы останемся при убеждении, к которому привело нас наше исследование: кто не учтет природные качества своих будущих слушателей, кто не сумеет различать существующее по видам и охватывать одной идеей все единичное, тот никогда не овладеет искусством красноречия настолько, насколько это возможно для человека.

Достичь этого без усилий нельзя, и человек рассудительный предпримет такой труд не ради того, чтобы говорить и иметь дело с людьми, а для того, чтобы быть в состоянии говорить угодное богам и по мере сил своих делать все так, чтобы им это было угодно. Ведь те, кто мудрее нас с тобой, Тисий, утверждают, что человек, обладающий умом, должен заботиться о том, как бы угодить не товарищам по рабству — им разве лишь между прочим, — но своим благим владыкам, потомкам благих родителей. Поэтому, если путь долог⁷⁸, не удивляйся: ради великой цели надо его пройти, а вовсе не так, как ты себе представляешь. Сбудется, гласит поговорка, если кто пожелает, и это будет прекраснейший плод тех усилий».

Ф е д р. Прекрасно, по-моему, сказано, Сократ, если только это кому-то по силам.

С о к р а т. Но ведь если что и придется претерпеть, взявшись за прекрасное дело, это тоже будет прекрасно.

Ф е д р. Конечно.

С о к р а т. Ну что ж, довольно говорить об искусном и неискусном составлении речей!

Ф е д р. Пожалуй.

С о к р а т. Остается разобрать, подобает ли записывать речи или нет, чем это хорошо, а чем не годится. Не так ли?

Ф е д р. Да.

С о к р а т. Относительно речей знаешь ли ты, как всего более угодить богу делом или словом?

Ф е д р. Нет, а ты?

С о к р а т. Я могу только передать, что об этом слышали наши предки, они-то знали, правда ли это. Если бы мы сами могли доискаться до этого, разве нам было бы дело до человеческих предположений?

Ф е д р. Смешной вопрос! Но скажи, что ты, по твоим словам, слышал.

С о к р а т. Так вот, я слышал, что близ египетского

Навкратиса⁷⁹ родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт⁸⁰. Он первый изобрел число, а счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога — Аммоном⁸¹. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил. По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

Ф е д р. Ты, Сократ, легко сочиняешь египетские и какие тебе угодно сказания.

С о к р а т. Рассказывали же жрецы Зевса Додонского⁸², что слова дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времен, — ведь они не были так умны, как вы, нынешние, — было довольно, по их простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили правду. А для тебя, наверное, важно, кто это говорит и откуда он, ведь ты смотришь не только на то, так ли все на самом деле или иначе.

Ф е д р. Ты правильно меня упрекнул, а с письменами, видно, так оно и есть, как говорит тот фиванец.

Сократ. Значит, и тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое искусство и кто в свою очередь черпает его из письмен, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее, — оба преисполнены простодушия и, в сущности, не знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше, чем напоминание со стороны человека, сведущего в том, что записано.

Федр. Это очень верно.

Сократ. В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде — и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни помочь себе.

Федр. И это ты говоришь очень верно.

Сократ. Что же, не взглянуть ли нам, как возникает другое сочинение, родной брат первого, и насколько оно по своей природе лучше того и могущественнее? 276

Федр. Что же это за сочинение и как оно, по-твоему, возникает?

Сократ. Это то сочинение, которое по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося; оно способно себя защитить и при этом умеет говорить с кем следует, умеет и промолчать.

Федр. Ты говоришь о живой и одушевленной речи знающего человека, отображением которой справедливо можно назвать письменную речь?

Сократ. Совершенно верно. Скажи мне вот что: разве станет разумный земледелец, радеющий о посеве и желающий получить урожай, всерьез возделывать летом сады Адониса ради удовольствия восемь дней любоваться хорошими всходами⁸³? Если он и делает это иной раз, то только для забавы, ради праздника. А всерьез он сеет, где надлежит, применяя земледельческое искусство, и бывает доволен, когда на восьмой месяц созреет его посев. b

с Федр. Конечно, Сократ, одно он будет делать всерьез, а другое — только так, как ты говоришь.

Сократ. А человек, обладающий знанием справедливого, прекрасного, благого, — что же он, по-нашему, меньше земледельца заботится о своем посеве?

Федр. Ни в коем случае.

Сократ. Значит, он не станет всерьез писать по воде чернилами, сея при помощи тростниковой палочки сочинения, не способные помочь себе словом и должным образом научить истине.

Федр. Это было бы невероятно.

д Сократ. Конечно. Но вероятно, ради забавы он засеет сады письмен и станет писать; ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость — возраст забвенья, да и для всякого, кто пойдет по его следам; и он порадуется при виде нежных всходов. Между тем как другие люди предаются иным развлечениям, упиваясь пиршествами и тому подобными забавами, он вместо этого будет, вероятно, проводить время в тех развлечениях, о которых я говорю.

е Федр. Забава, о которой ты говоришь, Сократ, прекрасна в сравнении с теми низкими развлечениями: ведь она доступна только тому, кто умеет, забавляясь сочинением, повествовать о справедливости и обо всем прочем, что ты упоминал.

Сократ. Так-то это так, милый Федр, но еще лучше, по-моему, станут такие занятия, если пользоваться искусством диалектики: взяв подходящую душу, такой человек со знанием дела насаждает и сеет в ней речи, 277 способные помочь и самим себе и сеятелю, ибо они не бесплодны, в них есть семя, которое родит новые речи в душах других людей, способные сделать это семя навеки бессмертным, а его обладателя счастливым настолько, насколько может быть человек.

Федр. То, что ты сейчас говоришь, еще лучше.

Сократ. Теперь, Федр, раз мы с этим согласны, мы уже можем судить и о том...

Федр. О чем?

Сократ. Да о том, что мы хотели рассмотреть и что привело нас к только что сказанному: надо рассмотреть б упрек, сделанный нами Лисию за то, что он пишет речи, да и сами речи — какие из них написаны искусно, а какие нет. А что соответствует правилам искусства и что нет, как мне кажется, уже достаточно выяснено.

Ф е д р. Да, кажется, но помни, как именно.

С о к р а т. Прежде всего надо познать истину относительно любой вещи, о которой говоришь или пишешь; суметь определить все соответственно с этой истиной, а дав определение, знать, как дальше подразделить это на виды, вплоть до того, что не поддается делению. Природу души надо рассматривать точно так же, отыскивая вид речи, соответствующий каждому природному складу, и таким образом строить и упорядочивать свою речь; к сложной душе надо обращаться со сложными, разнообразными речами, а к простой душе — с простыми. Без этого невозможно искусно, насколько это позволяет природа, овладеть всем родом речей — ни теми, что предназначены учить, ни теми — что убеждать, как показало все наше предшествующее рассуждение.

Ф е д р. Да, это стало вполне очевидным.

С о к р а т. А прекрасно или постыдно произносить и записывать речи, и когда это дело по праву заслуживает порицания, а когда — нет, разве не выяснило сказанное несколько раньше?

Ф е д р. А что было сказано?

С о к р а т. Если Лисий или кто другой когда-либо написал или напишет для частных лиц либо для общества сочинение, касающееся гражданского устройства, и будет считать, что там все ясно и верно обосновано, такой писатель заслуживает порицания, все равно — выскажет его кто-нибудь или нет. Во сне ли или наяву быть в неведении относительно справедливости и несправедливости, зла и блага — это и впрямь не может не вызвать порицания, хотя бы толпа и превозносила такого человека.

Ф е д р. Конечно, не может.

С о к р а т. Кто же считает, что в речи, написанной на любую тему, неизбежно будет много развлекательного и что никогда еще не было написано или произнесено ни одной речи, в стихах ли или нет, которая заслуживала бы серьезного отношения (ведь речи произносят подобно сказам раисодов, то есть без исследования и поучения, имеющего целью убеждать; в сущности, лучшее, что у них есть, раисоды⁸¹ знают наизусть), — так вот, такой человек находит, что только в речах назидательных, произносимых ради поучения и воистину начертываемых в душе, в речах о справедливости, красоте и благе есть ясность и совершенство, стоящие стараний. О таких речах он скажет, что они словно родные его сыновья, —

прежде всего о той, которую он изобрел сам, затем о ее потомках и братьях, заслуженно возникших в душах других людей. А с остальными сочинениями он распространится. Вот тот человек, Федр, каким мы с тобой оба желали бы стать.

Федр. Я очень хочу того же и молюсь об этом.

Сократ. Так довольно нам развлекаться рассуждением о речах. А ты пойдя и сообщи Лисию, что мы с тобой, сойдя к источнику нимф и в святилище Муз, услышали там голоса, которые поручили нам сказать Лисию и всякому другому, кто сочиняет речи, да и Гомеру и всякому другому, кто слагал стихи для пения и не для пения, а в-третьих, и Солону и всякому, кто писал сочинения, касающиеся гражданского устройства, в виде речей и назвал эти речи законами: если такой человек составил свои произведения, зная, в чем заключается истина, и может защитить их, когда кто-нибудь станет их проверять, и если он сам способен устно указать слабые стороны того, что написал, то такого человека следует называть не по его сочинениям, а по той цели, к которой были направлены его старания.

Федр. Как же ты предлагаешь его называть?

Сократ. Название мудреца, Федр, по-моему, для него слишком громко и пристало только богу. Любитель мудрости — философ или что-нибудь в этом роде — вот что больше ему подходит и более ладно звучит.

Федр. Да, это очень подходит.

Сократ. А значит, того, кто не обладает чем-нибудь более ценным, чем то, что он сочинил или написал, кто долго вертел свое произведение то так то этак, то склеивая его части, то их уничтожая, ты по справедливости назовешь либо поэтом, либо составителем речей или законов?

Федр. Конечно.

Сократ. Это вот ты и сообщи своему приятелю.

Федр. А ты? Как ты поступишь? Нельзя ведь обойти и твоего приятеля.

Сократ. Какого?

Федр. Красавца Исократ⁸⁵. Ему ты что объявишь, Сократ? Как нам его назвать?

Сократ. Исократ еще молод, Федр, но мне хочется сказать, что я предвижу для него.

Федр. Что же?

Сократ. Мне кажется, что по своим природным задаткам он выше Лисия с его речами, да и по своему

душевному складу он благороднее. Поэтому не будет ничего удивительного, если, повзрослев, он в речах — пока что он только пробует в них силы — превзойдет всех, когда-либо ими занимавшихся, больше, чем теперь превосходит всех юношей. Кроме того, если он не удовлетворится этим, какой-то божественный порыв увлечет его к еще большему. В разуме этого человека, друг мой, природой заложена какая-то любовь к мудрости. Вот что объявляю я от имени здешних богов моему любимцу Исократу, а ты объяви то, что было сказано, Лисию, раз уж он твой любимец.

Ф е д р. Так и будет. Но пойдем, жара уже спала.

С о к р а т. Разве не следует помолиться перед уходом?

Ф е д р. Конечно, надо.

С о к р а т. Милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекрасным⁸⁶! А то, что у меня есть извне, пусть будет дружественно тому, что у меня внутри. Богатым пусть я считаю мудрого, а груд золота пусть у меня будет столько, сколько ни унести, ни увезти никому, кроме человека рассудительного. Просить ли еще о чем-нибудь, Федр? По мне, такой молитвы достаточно.

Ф е д р. Присоедини и от меня ту же молитву. Ведь у друзей все общее⁸⁷.

С о к р а т. Пойдем.